

Надежда Середина



После публикации романа Надежды Митрофановны Серединой «Чёрная птица на белой сирени» (журнал «Подъём», 1997–1998) критики стали говорить о новой серьёзной прозе. С 1997 года Н. Середина – член Союза писателей СССР. В 2017 году Московская городская организация Союза писателей наградила автора дипломом имени И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» с вручением медали «И. А. Бунин (1870–1953)». В 2022 году Российский союз писателей присудил ей первое место в номинации «Проза».

Диапазон её дара широк, тематика меняется, мастерство обогащается. Об этом убедительно свидетельствуют её 40 книг и более 300 публикаций в журналах и газетах. С 2007 года Н. Середина – член международной писательской организации «ПЕН-центр». В 2021 году МГО СПР наградила Надежду Середину дипломом лауреата конкурса «Преодоление» литературно-общественной премии «Жизнь задыхается без цели» в честь 200-летия Фёдора Михайловича Достоевского. В 2022 году награждена дипломом литературного конкурса «Классики и современники».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Роман в трёх частях

Часть I

1. Возвращение полковника

Шёл двадцать первый год третьего тысячелетия, начался март. У полковника Бориса Константиновича в машине и холодильник, и спальник. Он смотрит новости по старой военной привычке.

– Великий Джо – 46-й или 47-й президент США? – спросил водитель полковника. – Как он назвал нашего? Спятили они, что ли?

– Тихо! – полковник вслушивался. – Что происходит на золотых кольцах бульварной Москвы? У меня в Москве дочь Кира, она всегда куда-то лезет. Салон завела. Политикой увлекается. Какую-то чёрную вдову приютила. У той сын-алкоголик сделал сироте из детдома троих дочерей и бросил. Вот вам и народ. Голодает сирота с тремя девочками. Дипломаты? Страшно далёк Тверской бульвар от МКАД.

– Дипломата вспомнили через полвека. Дореволюционного. У него уже дочь бабушка, а сын умер. Чудят. И генералиссимуса ругают. А что он им плохого сделал? У него одна пара сапог была и зимой, и летом.

– Свобода слова. Вошли в третье тысячелетие. У каждого своя правда. Может, у этого дипломата дочерей насчитано видимо-невидимо, ДНК вот бы сказало.

Но для водителя есть одна правда – народная. Он слушает с ухмылкой. Джо отвечает журналисту что-то непонятное, а потом назойливый журналюга вытаскивает из семидесятивосьмилетнего президента что-то, то ли убийца, то ли киллер. О ком он, о Владимире Владимировиче? Круто дед взял, боится его, что ли? Или вспомнил великий Джо что-то

о своём первом приезде в СССР, когда встречался с великим и могучим дипломатом Громыко. Комментатор русского телевидения не уточнил. Полковник в тонкостях языка английской дипломатии не разбирался. Ликвидаторы в спецслужбах есть. А вот киллер – это из другой серии. Кино кто-то перепутал или режиссировали под лохов. Началось, шаг вперёд к международной, два – назад, к блокаде, холодной войне.

Полковник напрягся: что, опять война, холодная или горячая? Выключил вещание, откинулся на сиденье, не хотелось вспоминать войну. Настроился на детство, там, в далёком добром детстве, всегда можно расслабиться, отдохнуть.

Было это более полувека назад. Где-то тут, совсем рядом. На земле предков. Он умилённо улыбнулся.

Весело течёт по лесостепи, ныряя в кустарниковые заросли, шелестя камышом, река со странным названием Битюг. Полковник объездил полземли, но такого места не видел. Орехи, черёмуха вдоль реки... Лес почти райский. Но райское время для Битюга – от апреля до ноября. Зимой Битюг спит, спрятавшись подо льдом и снегом. На правом берегу Битюга – посёлок Анна с Христорожественской церковью, с 1788 года, со времён князей Барятинских. А по левую – лесное зверьё, нечисть лесная: кабаны да лоси, бобры да зайцы.

Иногда хочется окунуться в реку чистых воспоминаний, в детство. Вчера его оглушила новость в «Новостях» ТВ. «Угу, – сказал из ящика великий Джо. – Он киллер». «Кто?» – хотел переспросить полковник и вдруг услышал: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Что это за детский сад? Малахов популярен. Его. ДНК. «А сколько у меня детей, – подумал полковник и стал считать ночи, жаркие, безлунные, – тридцать, тридцать один, сорок. Стоп. Дальше не надо». Сенсация, которая могла бы перевернуть мир полковника, – это где-то выросший его сын или, может, дочь. Как казалось ему ночью, в бессонницу, он не один на этой прекрасной земле. Вот и о нём кто-нибудь

когда-нибудь что-нибудь вспомнит, может быть, и напишет. В жизни стало как на войне, как на ринге.

Полковнику Борису Константиновичу приснился сон, что он – река, течёт и разговаривает с деревьями, с птицами, со зверями. Весной они с матерью собирали ландыши, и он увидел, как над родником поднялась и, вытянув длинные ноги, полетела огромная птица.

– Гусь! – поднял Боря руки.

– Это цапля, – мама загадочно смотрела в небо.

Лето – оно короткое. И он бежит босиком по речному серебрящему песку, чтобы бултыхнуться с невысокого глинистого обрыва. А внизу, в холодной глубине реки – раки. Он хватает одного, но рак борется, пятится под корягу. Рак спрятался. А вот улитки. Они прячутся в самих себя, как малыш, закрывающий лицо руками. Но дальше своего панциря-коробочки улитки спрятаться не могут.

На берегу – мама, и белые бабочки порхают вокруг неё. Она привела сына к реке, чтобы летом зарядиться солнцем, счастьем, теплом и светом. А отец – он всегда занят, его работа – служба, он военный.

Вот и сентябрь. Школа от реки далеко. Лето пролетело, и завтра в школу, и папа не пойдёт с ним на первый звонок, хоть сын его и очень просил. Мама с большим букетом бордовых гладиолусов улыбается. Она привела его на школьный двор, отдала гладиолусы и сына учительнице.

Анна Ивановна взяла величавые гладиолусы и повела в класс взволнованных детей.

Из окна, через площадь, был виден военкомат, папа ведь тоже смотрит на него в окно из военкомата, Борис бывал у папы и видел из окна свою школу.

...Машина везла полковника в аэропорт. Но до самолёта было ещё пять часов. И на полковника нахлынула волна откуда-то из глубины детства. Захотелось вдруг при-

коснуться к школьной парте, услышать звонок на перемену и особый шум школьной перемены.

– Успеем в Анну заскочить? – задорно спросил он водителя.

– Что? Да, попробуем, Константинович, – водитель переключил скорость, выезжая на большую трассу.

Трасса уходила на северо-восток, туда шла и одноколейка, там тупик железнодорожный. Даже Гражданская война обошла стороной посёлок Анна. У Андрея Платонова в «Чевенгуре» почти все события проходили на крупных узловых станциях, а в Аннинский тупик его герои даже не заглядывали. Сюда и сама советская власть шла не спеша, словно давая людям приспособиться к новым законам, не разрушая в спешке ни храмов, ни дворцов, ни хижин. Да и дворцов здесь особых не было. Князь Барятинский, говорят, не навещался сюда, а люди: и крепостные, и государственные, и монастырские – жили общинно.

Гитлер не дошёл до Анны, хотя путь-то всего сто вёрст от боевых действий. Тупик. Беженцы, не успевшие эвакуироваться в Узбекистан, оставались в Анне, спасаясь от войны.

Воронеж – город-герой – с землёй сровняли. Правый берег, ещё Петром Великим отстроенный, был в руинах.

Особое это село, с названием Анна. Богородица Мария рождена Анной. Машина притормозила у храма. И зазвонили во все колокола. Удивительно. Он сам вышел спросить у аннинцев: где же школа-то?

Метель занималась, всё веселее обдавая снежком. Кругом белым-бело, словно чистый лист бумаги предлагал кому-то переписать свою жизнь заново.

Аннинцы удивлённо смотрели на него и шагали между сугробами, одни в сторону храма, другие в сторону военкомата. Военный человек был его отец, стал военным и сын.

В советское время всё было понятно: работали для народа, для Родины.

Школы что-то не видно. Храм есть, а школы нет, будто и не было. Но была же! Послевоенные школьные парты были не похожи на современные школьные столы. Сама доска стола наклонена была вперёд, и крышка открывалась. И спинка была, а под ногами – подставка. Сиденье – лавочка на двоих. И углубление с краю крышки стола – для чернильницы. И скрипели пёрышками, выводя букву за буквой.

Анна Ивановна объяснила первоклассникам, как правильно сидеть: спину прямо, а руки, сложив одну на другую, так, чтобы пальцы касались локтей.

Борису это показалось смешным, руки прятались, как улитки. У девочки с белым бантом тоже руки лежали улиткой. И он уронил голову на парту и засмеялся. Девочка тоже рассмеялась. Пушистый бант трепыхался белой бабочкой.

И мальчик на первом ряду прыснул со смеху. И девочки повернулись и тоже стали смеяться, махали шёлковыми крылышками их банты.

– Расскажи всем, Боречка, что ты смеёшься? – подошла к нему Анна Ивановна и тронула за плечо.

Она сразу поняла, что он был заводила, зачинщик, и решила, что он подходящая кандидатура для командира «Звёздочки». А потом он станет командиром пионерского отряда. Окончит школу с золотой медалью.

Полковник вспоминает Москву, дочь Киру и её кухонный салон, где собиралась элита. Борис поднял голову: оказалось, смеяться на уроке нельзя?! И класс затих, втягивая головы, словно улитки, складывая руки.

Учительница окинула всех взглядом и сказала:

– Мне тоже очень весело. Я рада, что вы пришли. Буду у вас вторая мама, как написал Андрей Платонов, писатель из нашего Воронежа. Сегодня у вас будут уроки чистописания и рисования...

И был домик учительницы рядом со школой, и был чудо-сад. Где же школа? Пошла под снос? На снос? До основания? Сон-сад. На душе тяжело. Заметает упрямо голубая метель. Я сюда возвращусь. Вернулся. Вот же поэт писал о себе, а получилось, и полковника проняло. Смахнул слезу. Знал Анатолия Поперечного и с братьями Радченко познакомился на юбилее Любви Белгородцевой. Судьба на хороших людей не обидела.

– Сейчас выйду и ещё спрошу, – притормозил водитель, понимая полковника.

Полковник, вынырнув из воспоминаний, выскочил сам из машины и нетерпеливо крикнул прохожему:

– А где же школа?

Прохожий, увидев погоны, заторопился по кривой тропинке мимо сугробов.

– Да я же помню. Тут она была. И учительницу помню. Анна Ивановна нам приносила чай и хлеб. И кормила нас. И мы ждали её на крыльце школы. А снег, белый, чистый, укрывал нас словно пеленою. После войны и снег казался другим, белее, чище.

...Через полчаса водитель выехал на трассу и погнался, боясь опоздать на самолёт. Метель стала отставать, и полковнику показалось, что он перегоняет не только метель, но и время. Чем заполнить пространство времени между детством и зрелостью, когда года к суровой прозе клонят? Но ведь была же там старая школа. Где она? Снег, пахнущий ландышами. Тропинки, вытопанные среди сугробов, колокольный звон... храм над заснеженной Анной. И как чистый лист бумаги, вся жизнь впереди. И сейчас выйдет Анна Ивановна с душистым чаем и белым хлебом и поведёт их в райский сад детства...

Смотрел на дорогу полковник и вспоминал другую дорогу, по которой он бежал и молил, чтобы машина далеко не уехала.

Ему десять лет, бежит по дороге, словно убегая от чего-то страшного. За ним должна была заехать машина, чтобы успеть на станцию к приходу поезда.

Мальчик жил месяц с бабушкой, слепая, она никогда не улыбалась. И вдруг вчера ночью заговорила:

– Твой дед стал красным, когда пришли красные. Мы были не совсем бедные. Была лошадь, но по весне сдохла. Корова не отелилась. Только цыплят вывела чёрная клушка, да котят принесла кошка. Я цыплят от кошки в кошёлке спасала. И стал он работать на красных, строить лучшую жизнь. Паёк стал домой приносить, по жребию делили они лишнее. Лишнего у богатых было много. «Вот и царствие небесное», – думала я, молодая была. Была у меня чёрная курица, всё на яйца садилась. Исчезнет, а потом приведёт цыплят ко двору. Посадила я цыплят в кошёлку, захожу в избу, а тут дверь долбанули, чуть с петель не слетела. И на пороге – он. Бежал? Отпустили? Вчера его раскулачили, а сегодня он – вот стоит живой...

Стоит, в косяк двери плечом упёрся, усмехается. А за ним ещё трое.

– Где хозяин?

– Ты? Вчера тебя забрали...

– А сегодня отпустили! Наша власть!

– Как же это?

– Хозяин где?

– Нет... Его нет. Уехал.

– На чём же он уехал?! У него и лошади-то нет. Куда же он уехал? – и подошёл, глаза в глаза. – От власти не уедешь!

Вдруг в окне мелькнула фигура хозяина с вилами.

– Ха! Ты, баба, брешешь! Власти врешь?! – сдержал гнев, не ударил, только за шею взял с силой, точно подкову гнул. – Молчать будешь – жить будешь.

– Кто здесь? – загремел голос хозяина.

– Ты мне должен шесть мер пшеницы. За долгом пришёл. А ты думал, меня в Сибирь, и долг простится тебе?

– Это не я! Это власть!

– Власть может быть разная, а человек один. Ты был вчера власть, а я – сегодня.

– На один день ты власть.

– Мне хватит, – зловеще ответил кулак. – И ты на один день. Я не барин! Я такой же мужик, как ты. Ты почто у меня вчера корову и лошадь свёл? За что детей моих осиротил? Меня в Сибирь за что?

– Я за власть.

– За какую? Твоя лошадь сдохла, корова не отелилась. А меня под власть!

Я не выдержала, вскрикнула да кошёлку с цыплятами на пол уронила. Чёрная курица как подпрыгнет, да на кулака, чуть глаз ему не выклюнула. И давай по избе летать, как ворона. Дети на печи закричали.

– Домовые! – пнул курицу, швырнул кошёлку, раздавил цыплёнка желтого. – Нечистая здесь!

И навалились на моего деда четверо и поволокли на гумно.

– Пусти! Завтра в правление пойду, тебя опять арестует новая власть.

Это были его последние слова. И исповедаться не успел. Порубили на двенадцать частей. А меня заставили собирать в кошёлку. Так и ослепла. Это я виновата – если бы клушку не выпустила, дед был бы жив. Власть – страшная страсть.

Бежал мальчик и молился первый раз, как мог, чтобы машина далеко не уехала. А бабушкин рассказ, как страшная история про чёрную курицу, слышался ему.

И вдруг... догоняет машина, останавливается.

– Садись. За твоими родителями едем на станцию.

...Полковник стряхнул сон воспоминаний, более полвека назад это было. Водитель иномарки включил громче музыку. Всё на английском. Время, как река, жаль только вот из детства что-то возвращается страшное. Он всю жизнь служил одной власти.

А теперь река эта вспять потекла? Время пришло? Чтобы поднять себе настроение, он стал вспоминать свадьбу.

В поездке мысли Бориса Константиновича разъезжались в разные стороны: память у него была зверская. Любил он дорогу, как киноленту своих воспоминаний. Он был в Москве, когда были Громыко, Шевченко, Яковлев, Горбачев, Ельцин... И те, о ком мог бы написать книгу жизни. Как бы он её назвал?

А по каналам ТВ вещали, что в 1979 году был первый приезд тридцатишестилетнего Джо в Москву. «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг», – сказал Джозеф Робинетт Байден и возложил венок к памятнику Родины-Матери. 27 августа газета «Правда» писала, что семь сенаторов во главе с Байденом побывали в Москве и в Ленинграде. «Жалею, что надо уезжать из Москвы так скоро» – 31 августа. Белый дом. «Перспективы советско-американских отношений хорошие!» А за два года до этого журнал Time включил Джо в список «200 лиц завтрашнего дня, которые будут вершить историю».

И тут в памяти полковника возникла свадьба, встречи, любимые и просто хорошие женщины. Мир женщин казался ему всегда непостижимым. После войны выбирать девушкам было не из кого, и они рожали детей для себя. Вот таких уважал он, которые, возрождая страну, рожали для себя. Полковник знал таких женщин и сейчас вспомнил одну. И рядом с ней одного известного дипломата, тогда только начинающего.

2. Девушки в Москве. 1953 год

Оттепель 1953 года. Было тогда Евдокии неполных тридцать. Она улыбалась, стоя на Горбатом мосту: такой старый маленький мост, а столько свадебных замков на нём. Не обрушится, когда проедут венчаться?

Подруга её рассказывала о Москве и москвичах, она много читала и мечтала поступить в МГИМО, чтобы изучать восточные языки. Откуда и когда пошла эта свадебная традиция, как загадка, приключение – вешать на мосту замки на счастье, а ключ прятать у себя? Подруга любила шутить. Она говорила, что статисты не проверяли, у какого замка счастья больше, но мосты продолжают объезжать и обвешивать замками, как новогодними гирляндами.

Москва не исключение на богатые традиции, она не сразу строилась, а прирастали к Кремлю деревни, как грибы к пеньку. Так из глубинки её и зовут, мол, большая деревня. И тут сто лет назад с валенок сразу в сапоги переобувались. Но москвичи так не считают, особенно лимитчики. Приезжая из большой деревни в маленькую, они первым делом называют себя столичными жителями. И расписывая красивую жизнь перед односельчанами, бахвалятся то один, то другой, что в минуту жизни грустную возьмёт да и рванёт наудачу в большой город.

Евдокия никогда не забывала, как они с Любой гуляли по Москве в 1953 году. Это был Октябрь её жизни, маленькая революция в жизни женщины. Евдокия с подружкой прибыли из маленькой деревни в большую, в Москву, за счастьем, за судьбой, за лучшей жизнью. Стояли они на Горбатовом мосту и разглядывали большие и маленькие, блестящие стальные и красные крашеные замки и мечтали о женском счастье. Проходящий мимо старый сгорбленный человек посмотрел на них и сказал: «Счастье будет полным, когда восстановится древо всего рода. Рожайте».

Евдокия – сирота, ровесников её сразу после школы на войну отправили, отец ещё в Японскую ноги потерял, чайником называли его, когда он катил сам себя по базару, надеясь на милость торгующих и покупающих. Кому блин с икорочкой, а кому с корочкой и стопочкой. Это длинная история короткой его жизни. Она отца едва помнила.

Где же ей, сироте, ещё искать счастье, как не в Москве? Счастливая Москва из одноимённого романа Платонова тоже была сирота. Настоящий москвич тот, кто Москву любит. Они Москву любили, как мать родную, которую потеряли в детстве. Знать примечательности – это ещё не всё, нужно дышать духом старого города. Вот и мост Горбатый не забывают, едут и едут молодожёны, чтобы замкнуть его своим замком на счастье. Легче примирить державы, чем образумить влюблённых.

Семьсот или более лет назад здесь было село Кудрино. И Москвой это место не считалось. И протекала река Пресня. Но по какой-то причине река изменила своё русло, а мост остался. И шли строевым маршем через мост барабанщики всех времён.

Улицу Кудринскую в 1919 году переименовали в Баррикадную в память о начале революции 1905 года.

Теперь на экзаменах абитуриенты на вопрос: «Сколько было в России революций?» – быстро должны отвечать: «Три». Троечникам же этот ответ кажется непонятным.

Первая русская революция – 1905–1907 годы. Лев Толстой написал статью «Не могу молчать», призывая к пониманию бед народных.

Вторая – Февральская – 1917. И сразу третья – 1917 – Октябрьская.

А революцию 1991–1993 годов назвали Перестройкой – и в архив на пятьдесят лет. Коренные москвичи предпочитают знать историю мест, где проживают.

После Горбатого моста девушки пошли в Третьяковскую галерею. В зале Крамского смотрит на них отстранённо, словно не подвластная времени, «Незнакомка». Улыбка освещает её лик, глаза прячет. Шляпка, карета с открытым верхом и претензия на роскошь.

Приходили сюда и будущие дипломаты. Андрей, когда ещё не был дипломатом, стоял перед этой роскошной жен-

щиной так долго, что она стала оживать в его воображении. Такие моменты наслаждения красотой становились реже.

Андрей увидел женщину, похожую на его молодую жену. Что это? Сигнал из прошлого? Вот она, молодость, вернулась, пришла через восемнадцать лет. Жене было столько же, когда она раскачивалась на качелях, а он любовался её взлётами. Но быстро, почти сразу женился, и она родила ему через год сына. Ему показалось, что те качели были так давно, что он забыл, чувства охладели.

Он смотрел то на «Незнакомку», то на девушку, которая тоже смотрела на картину Крамского. Эта девушка вышла из рамы, вышла за рамки? Портрет ожил, как у Гоголя. Белорусского языка он не знал, украинского тоже не знал, хотя фамилия украинская. Делегация ушла, а он всё стоял и сравнивал, кто обворожительнее: портрет или женщина, словно шагнувшая к нему из открытого экипажа.

Он не мог заставить себя уйти, что-то произошло с ним, сломалось в нём. Стержень, воля, разум предательски молчали. К молодой «незнакомке» подошла дама постарше и что-то ей шепнула, и они обе посмотрели на него. И тут он подошёл и дал даме постарше два пригласительных билета в театр. И сказал, что его зовут Андрей. И почти бегом бросился догонять делегацию, но переводчик и гид, видя, что он отстал, ожидали его в соседнем зале, внося подробности в каждую картину до мелочей.

Штаб-квартира ООН, июнь 1945 года. Андрей, первый представитель от СССР.

Важно закрепить победу в документах, дать народам мир, восстановить разрушенное, залечить раны, оплакать погибших.

Небольшой краеведческий музей хранит по сей день картину Ильи Глазунова «Портрет с женой». Суровый и неприступный. Дипломат умер в 80 лет. Ещё один говорящий портрет дипломата и отца троих детей – «Портрет

Андрея» – хранится в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Вот и книга «Памятное». Тут и диван с подмосковной дачи.

Карьера Андрея начиналась во времена сталинских реформ. Сдержанность, воспитанная на страхе перед наказанием, выработала в нём особый вид терпения. Его не били в семье, но пугали, не пытали на службе, но страх разрастался с каждым годом, и он научился этот страх прятать волевыми усилиями. Воля, которая давала ему возможность затаиться и ждать, когда источник страха уйдёт или погаснет. Умеренность и аккуратность – несмешные достоинства Молчалина, тут Грибоедов немного ошибался. И чтобы не вызывать раздражение и гнев начальника, нужно уметь ладить, неуклонно поднимаясь вверх по лестнице власти. На этом подъёме много опасных скал, лавин, но он, или кто-то за него, выбрал этот путь. Риск подхлестывал желания и укреплял волю. Был он для начальства исправный, но ни с кем не делился планами, не советовался в моменты сомнений, не подстраховывал себя поддержкой друга. Он не ограничивал себя в удовольствиях, но всегда на виду соблюдал меру. Невозможно потерять контроль над собой, когда карьера на взлёте.

В театре дипломат сидел спиной к ней, но чувствовал её. Он не мог следить за игрой на сцене, какие-то чувства волной обдавали его, он боролся с ними, но от этого мысли его ещё больше путались. Эти места он обычно давал тем, кто был вроде телохранителя. Теперь она дышала, шептала, вздыхала за его спиной. Давали «Марию Стюарт» Шиллера. Сталин умер полгода как, Берия арестован... Устроили комедию суда. И в 1953 году лишили всех званий, и в конце июня арестован за шпионаж организатор создания атомной бомбы. «Берия вышел из доверия», – пели пьяные на базаре. А жена его не верила никому. Она, сирота, в шестнадцать лет сбежала с ним без благословения и свадьбы, мечтая о Бельгии. И дожила до перестройки 1991 года. И особняк на Малой

Никитской тоже выстоял, но розарий там уже не тот. Московские декорации поменялись.

Маски от Шиллера до очаровательно смешного студента Шурика в фильме Гайдая. Убийца, заговорщица, интриганка? Или мученица, оклеветанная лукавыми царедворцами? Маски прошлого и маски будущего. Только маски. Шиллер срывает маски. На сцене две королевы: Мария – королева шотландская и Елизавета – королева английская. А какую бы роль ему выбрал великий режиссёр? Графа Лестера? Нет, он бы не стал ходить на спектакль в разные театры, если бы отождествлял себя с Лестером. Хитрый манипулянт. До определённого предела. Жиголо. Елизавета хорошо кадры подбирала. Очень наивная пьеска.

Какие противоречия эпохи Возрождения! Ольга Чехова училась математике у отца Берии... Как тесен мир, и сцены жизни переменчивы. Театр ли жизнь, и мы её актеры?

Он прислушался к разговору дам и понял: его «незнакомку» зовут Евдокия. Он передал ей приглашение в антракте, она могла пройти на демонстрацию, как гость, стоять за теми, кто на трибуне. Это случилось накануне Октября 1953 года, в год, когда умер товарищ Сталин. Да-да, того самого, в честь которого более семидесяти лет водили советский народ на праздничную демонстрацию, чтобы показать всему миру строителей коммунизма. Каждый из них мог получить высшее образование очно или заочно, одни студенты шли радостно, пели песни, другие студенты участвовали из страха лишиться стипендий. Но никто открыто не протестовал. Да и зачем протестовать против праздника! Дали бесплатное образование – учись хоть до пенсии, правда, на право учиться во втором вузе нужно было специальное разрешение.

Лечили народ тоже бесплатно, одинаково, как во времена Чехова: пойти дать, что ли, валерианы всем. Железный занавес тормозил желания и не возбуждал граждан на нижней

ступени пирамиды Маслоу. Примерно так думал Андрей, и совесть его была, не сказать, чтобы чиста, а спокойна. И перед партией он был чист. И к выходу на пенсию газеты не хватило бы описать его награды.

Вот так он и познакомился с Евдокией в период своего приезда в Москву из Европы. С ней всё начиналось как-то не по правилам. Она не укладывалась в систему понятий, которые господствовали в его голове. Он жил на даче, хотя семья его уже переехала на городскую квартиру. Он редко бывал пьян, помня, что дипломат роет себе могилу рюмкой и любовной интрижкой.

Он подслушал её разговор в театре: «Твои родители кто? – Я сирота. – Какое у тебя образование? – Семь классов. – Где ты была в войну? – Санитарка я. С эшелоном ездила».

На даче, в одиночестве он вспомнил театр, «Марию Стюарт». И тот разговор девушек за спиной... Вспомнилось, как познакомился с женой: девушка раскачивалась всё сильнее и сильнее. Так и жизненные качели. Семья. Молодые аспиранты. И сразу родился ребёнок. А потом – война, погибли братья. Представляете, сколько бурлаков не родились. Взрыв атомной бомбы: «Ну и жажнули!» Он в это время был в Америке. Он молчал, слова, как золото, сберегая. Выработал у себя привычку слушать. Он хотел стать лётчиком, но опоздал, принимали только до двадцати пяти лет. Увлекался изучением английского: язык и довёл его до Америки. Но Октавиана Августа дипломат не забывал, и в записной книжке у него было на первой странице написано «Augustus – божественный, величественный. 63 год до н.э. – 14 год н.э. Гай Октавий». Вдруг на него нахлынуло то театральное настроение, которое ему впервые открыл гастролирующий артист, играющий Октавиана Августа.

Помимо его желания вновь ему захотелось блеснуть перед молодой женщиной, и он раздал билеты в театр. В кар-

мане пиджака лежали его визитки и приглашения: сельская мальчишеская привычка, что-то да в кармане должно быть.

«Что может быть выше мира в семье и работы?» – вспомнил он слова отца.

Дипломат отдыхал на даче в одиночестве и от многодневных сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Это такой театр дипломатических действий! Он не снимал маску дипломата даже в квартире. Не сходил со сцены сутками! Но тут, в Подмосковье, когда он один, снять маску и стать человеком такое наслаждение. И он даже разговаривал сам с собой.

«Лучше десять лет переговоров, чем один день войны. Ты знаешь, как они меня прозвали? "Мистер нет". Кто заключит со мной мирное соглашение? У меня вся жизнь как война, – не теряя достоинства, сказала она. – У меня есть сводный брат по отцу. Он прокурор».

Октябрьские праздники. Дипломат вызвал машину. Надо ехать. Желание людского общения возбудило его. Хотя надо признаться, чувствам он не давал власти над собой. Чувства чувствами, а карьера карьерой, как говорила его мать: «Муха отдельно, а котлетку отдать тому, кто муху не видел». Она приводила ему в пример самого Октавиана Августа, о котором рассказывал ей заезжий артист. Спектакля она уже не помнила, но Августа вырастила в себе, как вынашивают ребёнка. Больше всего её удивило, что Август отнял один день у февраля. Она рассказывала это всем, но на неё смотрели как на чудачку. Август был наиболее радостным месяцем и в её жизни.

Через трое суток отдыха на даче он опять на работе. А девушки? А девушки – потом.

Нужно быть кристально чистым на виду. Не привлечь к себе внимание спецслужб. Не разрушить карьеру, так удачно начавшуюся при Сталине. Редко, очень редко были у него неслучайные случайности. Он был мягок и любезен

с женщинами, и они к нему тянулись. Они чувствовали в нём что-то своё и словно в сомнамбулистическом состоянии доверялись ему. «Пусть лучше я буду ухаживать за улиткой. Она хоть медленно ползёт, зато несёт свой дом на голове».

Андрей был строг в общении с женщинами, глядел на них только как на партнёрш в достижении успеха в карьере. «Любой мужчина сильнее женщины», – считал он. «А всякий дом хозяином держится», – внушал ему дед. Слово по Гюго, он был как человек в маске: мало кто видел его настоящее лицо. Всегда сдержан, в пиджаке, при галстуке и в шляпе. Но мог и так ударить кулаком по столу, что у самого очки слетали.

Но для полного литературного портрета нет ещё штриха. Вот пришло время сделать этот последний штрих, чтобы восторжествовала истина, и «Незнакомка» ожила.

У него даже на даче на столе всегда книги разного направления, среди них глыбой – тома Льва Толстого. Дипломат любил брать книгу в руки, подержать, полистать, выборочные страницы перечитывать. Ему казалось, что, если бы у него была свобода, как во времена Толстого, он бы написал «Мир и война». Где главным был бы мир. Если бы мир узнал о нём, то просто бы ахнул. «О чём? Чего такого в мире не было, что он бы ахнул?» – спросите вы, умный читатель. Вам, конечно, известно, уважаемые читатели, что Андрей рекомендовал Михаила Горбачёва? И вы, конечно, слышали о разгоне художников на Арбате. Он коллекционировал картины, ценил работы Ильи Глазунова.

3. В глубинке

Говорят, что параллельные линии пересекаются, если очень далеко устремиться в будущее. Там, за горизонтом Млечного Пути, время, место и действие обретают свобо-

ду. Какую? А кто ж её знает, свободу, стремящуюся к Абсолюту?

Евдокия стала бабушкой, дочка подарила ей внучку. Прошло почти полвека с того октября, когда Евдокия стояла на Горбатом мосту, гуляла по Соборной площади Москвы, удивляясь величественности храмов. Архитектура так действовала на неё, что она замирала, глядя на золотые купола и колокольню, похожую на огромную свечу.

Евдокия привезла в деревню дочку-учительницу и тринадцатилетнюю внучку Олю. В городе жизнь у них не задалась, надо спасать. Она была санитаркой в военном эшелоне в войну. Одноклассники Евдокии сразу после школы шли на войну, Отечественную. И, пережив военное время, трудностей в мирной жизни она не боялась. Жить можно, живут же миллионы. Она давно сменила имя и фамилию и много лет не была в Москве. Жизнь сильно изменила её, она стала мужественнее, курила, как мужчина, могла махнуть на безобразника, защищая свою зону комфорта. Вышла замуж беременной за Михаила, внушала ему, что это его дочь, да и сама этому почти верила.

Евдокия, увидев около дома Михаила, обрадовалась, но виду не подала. Привыкла радость скрывать, словно кто-то унести может.

Михаил вышел за калитку встречать. Знал, что жена его, Евдокия, вернётся из города с дочкой и внучкой. Он по-своему любил её, по-стариковски, тихо и верно. В молодости много пережил он страстей, и когда встретил эту женщину, думал, всё – тихая пристань. А она оказалась беременной. Сам он примирился, а родня его взбунтовалась: не наша кровь. Уехал с ней в большой город. Девочка росла разумной, трудолюбивой. И белокурой. Сам же Михаил чёрный, как смоль, с горбинкой нос и самые большие уши в деревне, за что прозвали его «слоном».

Вот и гости. Михаил, увидев перед собой Марию, белокурую, голубоглазую, и с ней такую же белобрысенькую девочку-подростка, засуетился. Они так похожи на Евдокию. Он понимал, что Марии не хотелось мешать матери в её кое-как налаженной жизни, не разрушать их дома. И Оля рассказывала, что бабуля с дедулей если и ругаются-бранятся, то только когда мама среди них. И рассказала, что когда ей было семнадцать лет, то Михаил в порыве гнева сказал ей, что он не отец ей. И что мама говорила о каком-то дипломате, о московских кривых улочках, о «Марии Стюарт» и «Незнакомке». И из журнала «Огонёк» висела над её кроватью эта незнакомка.

Попив чаю с мёдом, Мария и Оля пошли в школу. Ей нужна работа, а девочка будет ходить в 7-й класс. Матери, как учительнице, обещали квартиру рядом со школой. И ей хотелось скорее определиться, где она будет жить: с матерью и отчимом или отдельно с дочкой.

Михаил, чувствуя волнение и какую-то робость, точнее сомнение, подошёл к своей жене и по-молодому приобнял её.

– Дуня! – не видит он запыхлённых морщин на её лице, а видит глаза голубые, родные. Несмотря на трудности, она не потеряла вкус к жизни. – Дуня, посмотри, кто там...

Михаил стоял около трубы, пустой и давно ненужной, торчащей метра на полтора вверх. Дотронулся до верхнего края и улыбнулся трогательно, нерешительно и глуповато.

– Посмотри.

– Где?

– В трубе! – сказал муж.

Евдокия нагнулась, прикрыв один глаз, словно собралась смотреть в бинокль.

– Ах! – отскочила. Из трубы рванулось шипение и шум. – Змея?! – испуганно уставилась на него, но, видя, что он смеётся, мстительно прошипела. – Ты ш-ш-што?

– Ты что, Дуня?! – дед не ожидал такого шипения. – Какая змея? Ты чего там, в городе, совсем закружилась? – Муж уже смирился, не спорил, она на пятнадцать лет моложе, он только улыбался. – Смотри, она сейчас вылетит.

– Кто?

– Птичка.

– Какая птичка?

– С птенчиками. Вот, смотри... – Старик провёл рукой над трубой, шипение, взмахи крыльев о трубу повторились. – Птичка гнездо там устроила. Птенчики будут...

– Надо их вынуть.

– Зачем? Ни кошка, ни коршун их там не достанут.

– А с пчелой что? – Евдокия, наконец, пришла в себя и поспешила осмотреть ульи, за пчёл она тоже переживала не меньше мужа.

Он поплёлся за ней: что-то без хозяйки да без горячего борща он совсем ослаб.

– Старая пчела далеко от своего жилища не летает.

Евдокия не обращала внимания на ворчание мужа, она смотрела, как возвращаются тяжелые пчёлы с жёлтыми корзиночками на ножках.

– Отдыхай, а мы тут по ульям посмотрим, прополис соберём, ещё рано к зиме заклеиваться.

Колюшка с интересом изучал пчёл.

Михаил пошёл на пасеку, там будет ждать юного пчеловода-помощника.

Колюшка пришёл, как только день стал клониться к вечеру. С дедом пошли в сарай, там сетка от пчёл, пустые ульи, старые рамки, сушь с тёмными кремовыми сотами оттого, что пчёлы их как бы затаптывают, пачкают пыльцой и полируют прополисом.

Потом они обошли пасеку, посмотрели, как работают у летка пчёлы, нет ли воровства, нет ли признаков роения. Потом дед выбрал улей, который надо осмотреть. Колюшка сам снял

крышку, дед был уже слаб, а парню было приятно чувствовать, что дед без него не может. Дед неторопливо отвернул тёмный коврик, покрытый прополисом, как пластилином. Улей загудел от удара прямых лучей солнечного света. Вот этот момент особенно возбуждает, когда с гудением поднимается пчелиный дух и окутывает головокружительным ароматом. Дед вынул рамку. Пчёлы, как жидкое золото, каплями перетекают по сотам.

– Главное, найти матку, если матка есть – улей будет жить.

– Вот она, вот!

– Светлее и крупнее рабочих пчёл, с длинным брюшком. Брюшко у неё, видишь, длинное, полное, яйцевидной формы, наполовину прикрыто крыльями.

Марии нравился этот паренёк, она вспоминала свою первую любовь. Потом вышла замуж не за того. И всё пошло не так, как обещала первая любовь. Вспомнила, как они с дочкой после развода жили в рабочей слободке. И там она была невольной свидетельницей начала революции, как ей тогда казалось.

* * *

Ночь. Фонарь, похожий на луну. Как в ту маленькую «революцию», в которой победил народ. Хоть ненадолго, как в Париже.

Мария не могла уснуть всю ночь. Вся жизнь проходила перед ней, как большой прожитый, но ещё не написанный роман. Ей нужно было всё выстроить, обдумать и принять решение. Посоветоваться было не с кем, а жить одной здесь невероятно сложно. Она вспомнила отчётливо, ясно полнолуние августа того мрачного для неё года, словно там была скрыта разгадка сегодняшнего дня. Всё вспомнилось ясно, до деталей, будто это произошло не годы назад, а дни.

Мария вошла в кабинет, и директор сразу понял: не работник – проситель перед ним.

– Что? – кинул взгляд на заранее приготовленный лист бумаги в её руке.

– У меня ребёнок маленький. Я работаю. Детский садик нужен.

Дальше он не слушал. Смотрел. Перед ним стояла женщина моложе его лет на пятнадцать, миловидная, застенчивая. А это, хочет он того или нет, не лишено своеобразной заманчивости. Он встал. Прошёлся по кабинету от стола к окну. Коренастый, с крепкой красной шеей, обтянутой петлёй серого галстука. Смотрел в окно, сжимал замком пальцы на спине.

Она в ожидании молчала. А в окне – поля. Чистое, словно после дождя, осеннее солнце и от чистоты своей высокое и яркое. Повернулся, подошёл к молоденькой просительнице.

– Я всё понял! – улыбнулся, положил тяжёлую кисть на плечо, другой взял заявление. – Придёте завтра, – прошелестел бумагой. – Лучше послезавтра. Потолкуем.

– Послезавтра? В воскресенье?

– А вы что, работаете и в воскресенье?

– Нет.

Она протянула руку к заявлению, он разжал пальцы.

– Ты хочешь устроить своего ребёнка?

– Да.

– Что «да»? А муж где работает?

– Я разведена, воспитываю ребёнка одна. И без детсада... – начала объяснять и запнулась.

– Понятно! – его возбуждало в её голосе эдакая нотка горделивой жалости – вызова одинокой женщины. – Где работаете?

– В школе, в центре.

Он отошёл к окну, будто угадывая кого-то за стеклом, молчал. Медленно повернулся.

– А если заведующей? В садике человека ещё не утверждали. Пойдёшь?

– Я?

– И ребёнка возьму! Ну, подумай до воскресенья, – и, не глядя на неё, пошёл к двери.

Мария вышла красная, как из парилки. «Что делать? – думала она. – Человек хочет помочь. Но почему так?»

Мария зашла в магазин, как она говорила дочке, «за молоком». Запас денег кончался. У кого занимать?

– Замуж выйти – не напасть, как бы замужем не пропасть! – судачили у магазина бабы.

Она вслушивалась, выстаивая долгое время в тесной очереди.

– Я развод обмывала шампанским! – смеялась заразительно Тоська, утирая нос сыну. – Прямо после суда взяла бутылку – и к девкам. Шампанское пили!

– Ты-то вольная – в квартиру вселилась.

– А мне директор и говорит: «Веди мужика, тогда возьму и квартиру дам». Работники ему нужны? Тяпать! И садик не даёт...

– Садик-то один, а нас вон сколько. Через год своих, совхозных, девать некуда будет!

– Куда уж там! Каждое заявление подписывает сам!

– Правильно! Хозяин!

– Удумал, чтоб и отец, и мать у него в поле работали! А ушел – ребёнка из садика бери: «Наш садик! Вам сразу: и садик, и квартиры!»

– Как мы-то жили... Тяпка тяжела, как соха, и от зари до зари пашешь... – ворчливо шептала старуха. – Разбежались с села-то, и мужики за вами в город рвутся...

Жили там, где было жильё. Вот они и ехали, ехали, прослышав про скорое жильё. Мужиков везли и квартиры получали. Свадьбы перемешались с разводами: не то чтобы семьи распадались, а движение началось, обмен. Глядишь, от одной

муж ушёл – у другой нашёлся; сегодня с одной расписался, через год с другой туда же идёт. В загсе – не в церкви, записывают не на всю жизнь, на время. А дети как огурцы на грядке.

Мария слушала, думала и решила в воскресенье к директору не ходить.

* * *

В понедельник с утра Мария пришла в контору. Тут стояли жёлтые «икаруссы». Весёлые, точно туристы, городские рабочие в джинсах да кроссовках прохаживались возле автобусов. Трактор протарахтел, слившись с бодрыми утренними голосами. Мария поднялась на второй этаж, остановилась у двери директора, открыла. Какой-то мужик с загорелым лицом и такой же румяной лысиной подхватил её в дверях и, слегка стиснув, пробасил: «Ишь, смелая, против течения идёт! Куда? Против мужика не ходи...» Она молча отбросила его руку и очутилась в кабинете. Села у стола.

– Алексеевна, задержись... – остановил директор парторга, направившегося к выходу.

Высокая женщина, плотная, с мужскими сильными плечами, парторг подошла к столу:

– Остаться?

– Посиди, – показал на стул рядом с Марией. Дождавшись, пока все выйдут, начал: – Вот, садик пришла просить... Что будем делать?

– У меня заявление... – протянула Мария бумагу. – На комиссии райисполкома мне объяснили, что вы обязаны выделить место в садике.

– Причём тут комиссия? – читала заявление парторг. – Это наш садик!

– Напишите тогда, что отказываете...

– Я уже принял решение: или идёте работать в совхоз, или...

– Или? – вспыхнув, перебила Мария. – Почему вы заставляете меня ходить, просить, ждать, намекаете на что-то?! Я – учитель!

– Ну и что, что «педахох»? – заменила парторг звонкую «г» хриплой «х»: – Педохох! У нас вон и инженера, и художники, и писатели с тяпками ходят... Жить негде, вот и тяпают! Директор не дойная корова: плана не даст – его никто не погладит по шапке!

– По голове, – поправила учительница.

– Что?! – поднялась Алексеевна.

– Выражение такое... – начала объяснять Мария и запнулась, видя, как переглянулись директор с парторгом.

– Всё! Вопрос решён! – Алексеевна упёрлась мясистыми пальцами в полировку стола, придавив заявление. Потом рванула бумагу. Лист пикнул, раздвоился, на какой-то миг замер, словно в недоумении, и, нервно прошелестев, стал разлетаться мелкими клочками.

Маша ощутила себя маленькой, беспомощной, как девочка младших классов. Перед глазами крутились, летели бумажные снежинки, будто затевалась метель, и откуда-то эхом докатывалось: «Всё! Всё. Всё...» Стыло, каменело в груди: «А как же с работой?» Шаг. Второй... Она старалась не наступать на разорванные строчки своего неровного почерка.

* * *

Вечером Мария возвращалась из города с дочкой. Девочку укачало в дороге, и она еле шла. Пятиэтажки в полях стояли серо, нелепо, диковато. Вдоль дороги к домам тянулись длинноногие тонкие тополя.

У конторы запылённые, уставшие рабочие столпились вокруг грузовой машины.

– Что здесь? – подошла Мария с дочкой.

– Танцы! Оставайся! – хохотнула Тоська. – Может, и нам дадут потанцевать...

Мария остановилась, прислушалась к разговорам. «Да где же она была-то?» Задавали вокруг вопросы и тут же отвечали: «Где ж? У матери, в селе. В отпуске». – «Да узнала-то как?» – «Как?» – отзывались эхом. «Слухами земля полнится. Телеграмму кто-то из баб отбил. – И уточняли: – Верка, подружка её дала. Сама, небось, и отбила, на почте теперь свой телеграф завели». «Смотри, директора не боится...» – донёсся осторожный, осмотрительный голос. И оборвался заглушённый напористым, дерзким возгласом: «А чего ей бояться?! Не в совхозной живёт квартире – в доме своём! А работы везде хватит. Вон, город рядом... Местные-то не ищачат в поле!» И опять потонули в вопросах. «Да как же выселяют? Ведь у неё двое ребятишек?» «Как? – отозвался голос-эхо. – Закон в их руках!» И голос стихал, ударяясь о другую волну слов: «Директор же говорил, мол, с поля уйдёте – выселю... Говорил?!» «А им и законы не нужны – они сами себе закон!»

Молодая учительница увидела в кабине грузовика почтальоншу, на руках у неё сынишка трёх лет. Броская цыганская красота этой женщины возбудила не зависть, а удивление... Тяжёлая почтальонская сумка не перекосила её плечи... Слухи ходили об этой женщине разные: и любовницей директора была, и что мужики её все бросают, не уживаются, и прохода ей не дают. Она сидела в машине гордая и, казалось, ничего не слышала и не видела вокруг.

В кузове всё навалом: полированный шкаф упирается в спинку кабины, прижимая узлы; ножки стульев тупо торчат над бортом...

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... – донёсся сухой, стёршийся голос.

Мария оглянулась. Старуха напомнила ей мать: голубые усталые глаза в ободке морщин, светлые волосы из-под

платка в синий горошек, тонкие струночки губ, изъеденные старостью.

– Бабушка, бабушка! – подбежал мальчик. – А что здесь будет?

– «...И покрыла ея нищета, как Красное море фараона...»

– А куда тётя хочет ехать?

– «...И по причине умножения беззакония во многих охладее любовь...»

– Я тоже хочу покататься. Бабушка, посади меня к ней.

– Нельзя! – сгустила сердито морщинки. – Что ты всё бежишь и бежишь, как быстрота речная!

– Хочу!

– Вон, видишь, полицай, а ну, беги домой!

С другой стороны конторы стояла серая, крытая брезентом машина – «козёл». Рядом три блюстителя порядка в форме и двое штатских. И юрист совхозный. Участковый подошёл к машине с вещами, дёрнул дверцу:

– Выходи! Хватит фокусы показывать! Вон людей сколько собрала!

Почтальонша обернулась, ребёнок беспокойно завозился у неё на руках. Мать, молча, будто не замечая участкового, посадила сына так, чтобы он не видел злого лица.

– Я заставлю тебя подчиниться! Поедешь с нами! – тот лихо хлопнул дверцей, будто стегнул кнутом. – Петька, крути баранку.

Петька был шофёром директора, он приехал в совхоз по весне, летом уже управлял директорской «Волгой», а к зиме целился вселиться в квартиру.

– Поехали, как сказал Юрий Гагарин. В городе разберутся! – прикрикнул участковый.

Петька схватился за металлическую ручку дверцы, опёрся о ступеньку подножки, но кто-то хлестнул его по руке и сбил с ног. Участкового оттеснили своими плечами и спинами, без побоев. Грузовик плотно окружили. Ближе подтягивались

те, кто стоял сзади. Толпа забурлила. Волнение охватило и Марию, словно это она была в кабине машины, с ребёнком на руках, а вещи её, весь нехитрый домашний скарб здесь, в кузове. Куда повезут? На вокзал и в Магадан?

Мария смотрела, как медленно отходил блюститель порядка, как размахивали руками вокруг грузовика, как, сутулясь, прикрыв лицо локтем, уходил Петька, и чувствовала, как в ней поднимается что-то далёкое, смутное. Она крепче сжала ручонку дочки и пошла домой. Но память уже открылась, и она всматривалась в своё детство.

* * *

Её и старшую сестру в интернате звали «тепличные». Вход в теплицу был через пристройку. Интернатовцы брали здесь грабли, лопаты, вёдра, веники на уроках общественно-полезного труда и называли пристройку «тепличкой».

Однажды в субботу мать забрала сестёр из интерната, подвела по узкой, вытоптанной в снегу тропке к теплице, сняла замок. Они зашли. Остановились в темноте. Щёлкнул выключатель. И вместо пыльной кладовки сёстры увидели две кровати, узкие, с металлическими грядушками, как в интернатовских спальнях. Старый футляр ручной машинки. «Сверчок» называли её сестры и, когда слышали её стрекотание, вспоминали маленький дом из железнодорожных шпал на Сибирском полустанке. Дом под высоким раскидистым тополем, разбросавшим корни свои по всему огороду и палисаднику. Дом, где за тёплой печкой дозревали в валенках помидоры и зимовали настоящие сверчки.

Сёстры ещё стояли на пороге помещения без окна, а мать уже накладывала толстые, на дрожжах, блины и наливала холодный компот из трёхлитровой банки. Блины были вкусные, а компот из интернатовской столовой.

«Козямозя» – уборщица – принесла компот. Маленькая сухонькая старушонка достаёт подталые леденцы из кармана чёрного халата, который она носила и на работе, и дома. Леденцы пахнут «Беломорканалом». Дышит она с астматическим присвистом. Вдруг звонкие удары камней по крыше, глухие по стенам: мальчишки играют в войну. Козямозя выходит, кричит в темноту, сгущая голос до мужского хрипловатого баса, ругается грубо, но не злобно. Кашляет, тяжело хрипит в удушливом приступе. Мать даёт ей лекарство, наливает в гранёный стаканчик воду.

– Дуня, а покрепче у тебя есть?

– Брось. Это вредно. И дети тут. Не надо.

– Зиму перезимовали в тепле, в тепличке. И дети твои с тобой. Не отдавай никому. Вон какие славненькие. Вырастут – помогать будут. Слава Богу за всё.

В тёплые дни открывали дверь в большую солнечную теплицу с запылёнными и кое-где разбитыми стёклами: тогда дверь служила окном. Но в самой теплице ничего не росло, земля в ящиках была сухая и мёрзлая.

Март, апрель, май – весна ликовала, торжествовала природа.

В мае мать перебралась в новое жилище. Одноэтажный аварийный дом привлёк внимание матери зияющей чернотой пустых окон. Вставив стёкла, она побелила комнату, отремонтировала печь. На чердаке под сверкающими, точно звёздочки, дырочками в шифере расставила корыто, тазы, кастрюли, баночки... Когда дождь барабанил по шиферу, сёстры сидели на чердаке и выливали воду из баночек прямо на макушку сирени. А ночной ливень барабанил по обшарпанному полу. Сразу после уроков они теперь уходили из интерната, готовили уроки дома, слушали стрекотание машинки, которую мать расположила в центре комнатки. Теперь они с сестрой на зависть всем интернатовским ночевали дома. «Тепличные домой пошли...» – докладывали завистливыми голосами

дети воспитателю. И на лето сёстры в один голос отказались ехать в пионерские лагеря: заводили своего «сверчка» – шили яркие платица.

Тугие набухшие гроздья сирени, казалось, вот-вот брызнут ярким душистым цветом под окном: не зря выливали на них воду из тазов и вёдер на чердаке.

Но вдруг к дому подошли мужики в рабочих ветровках.

– Кто они? – Маша смотрела на старшую сестру.

Их было пятеро, они остановились у двери дома. Высокий оглянулся на них не как на людей, а как на дворовых щенят или бездомных выброшенных котят, в глазах его не возникло боренья с помыслами, только бесовской пламень сверкнул ярче. Он толкнул дверь ногой, точно заходил в сарай.

– Почему? – схватилась девочка за руку старшей сестры. – Кто это? Почему он пришёл в наш дом?!

Страшно горбились спины мужиков. Засучены по локоть рукава, засалены обвислые рабочие брюки. Вчетвером выносили, как гроб, скрипучий старый диван. И всё выходили, выходили, выходили, выходили. Только высокий, праздничный человек оставался там, в доме.

– Надо позвать маму! – рванулась маленькая худенькая девочка Маша.

– Молчи! – отдёрнула руку старшая сестра. – Она знает...

Куча скарба росла. И вдруг грохот! То ли обвалилась ветхая крыша, то ли раскатились кирпичи от какого-то толчка. Это «сверчок»! Их домашний «сверчок»... Фанерная крышка старого футляра треснула, вывернулась ручка. Звук оборвался и замер. В напряжённой тишине крутилось отлетевшее маленькое колесо, которое так весело крутилось, когда сёстры шили себе летние платица.

– Фашисты! – смотрела на них Маша и шептала, подходя к «сверчку». – Фашисты. Уходите! – кричала и била их по спинам маленькими бессильными кулачками. – Молчи! – оттаскивала её сестра. – Молчи, видишь, у него

лицо без глаз, двойные стёкла. Это – аварийка! Нам отсюда уходить надо, только некуда.

Мать вернулась, когда мужики ушли.

А через неделю Мария ехала на электричке за город. Там был детдом.

– Почему нам квартиру долго не дадут, если я буду записана в твоём паспорте? – под стук колёс спрашивала у матери дочка.

– Маша, мне нужна такая справка, чтобы директор мог дать комнатку.

Такая справка позволяла сердобольному директору пойти русской одинокой женщине навстречу и дать комнатку в девять метров в коммуналке, не обходя закон. Закон был строг – матерям-одиночкам полагалось пять рублей в месяц на ребёнка, а жилья не полагалось. Директор получал в пятьдесят раз больше. А на троих нужно не девять метров, а двадцать семь. Всё дело в квадратах.

У директора в кабинете был телевизор. В Алма-Ате после Чиликского землетрясения 30 ноября русские строят город-сад, говорил диктор, демонстрируя чёрно-белые картинки бедствия. Заново город для казахов строили в шестьдесят седьмом году такой, что Европе на зависть.

Время было такое в русской глубинке, за МКАД, – жилья не хватало женщинам с детьми. По двадцать лет стояли на государственной очереди, чтобы получить бесплатное жильё. А купить не на что: все одинаково бедные. То было по-своему крепостное право – приписка к заводу, к фабрике, и хочет человек – не хочет, а семье жить где-то надо, и он смирял себя, работал. Кто больше перетерпит, тот и достигнет чего-нибудь. Справка решала всё. Вот посмотрит какой-нибудь директор или парторг в справку и уже не усомнится, а сразу начнёт решать, что с этой справкой делать, чтобы, когда придут проверяющие парторга из райкома партии, не могли заметить ничего незаконного. Всё по закону, по долгу, по справке. Как

это без справки? Что это за мать-одиночка без документа? Но директор завода был человек пожилой, участник войны, практик, он с людьми работал, а не по кабинетам сидел, много видел разных матерей. И когда увидел женщину с ребёнком, то посоветовал: «Возьми справку, что ты одна, без детей. Как? Отдай в детдом. Справку дают матерям, у которых дети в детдоме. Но они там никогда не были. Будут переселять в новый дом, что-нибудь тебе в старом выделю, всё сделаю, что смогу, только со справкой не тяни». Вынул из кармана серого пиджака десять рублей и дал «на молоко детям». Он получал 250 рублей в месяц, своих детей у него не было. Евдокия в этот же день купила сапожки для старшей дочери, а младшую теперь государство обуеет.

Оле было двенадцать лет, и она уже понимала, что взрослые всё делают правильно. Детдом значит детдом. Девочка верила в правильный порядок вещей.

У Василия Шукшина люди из народа – мудрецы. А дети у Андрея Платонова – чуть ли не пророки. Станьте как дети, любите друг друга. Дети номенклатурных родителей восхищаются иначе, у них Райкины и Стругацкие разгоняют скуку. Родители, не желая отягощать своих детей знанием тёмных сторон жизни, лишают их почвы, устойчивости, и культура раскололась.

– Как-то так получилось, что забыли, что помимо Каина и Авеля был ещё брат их Сиф, и родил он Эноса от Азуры, – говорила бабонька Евдокии.

– К хорошему легко привыкнуть, а вот вы попробуйте прожить, когда трудно! – часто говорила Евдокия своим дочкам.

И был день, когда мать привезла дочь в детдом и оставила там.

И Маша поверила – так надо. Надо терпеть.

– Вот, надень это, – показала коротким пальцем воспитательница на старое, вылинялое, поношенное одеяние. –

Что ты такая худая, как будто война кругом?! Что ли на тебя ни солнце не сияет, ни дождь не дождит? А это, – ткнула пальцем, как сосиской, в новое ромашковое платье на девочке, – сюда положи.

Маша разделась. Положила ромашковое платье, которое надевали при матери, на край стола, как на прилавок после примерки. И пошла читать «Сказки народов мира», чтобы не расплакаться ни о маме, ни о ромашках.

Жил-был король. Однажды прислал ему другой король тяжёлую дубинку – палицу. Собрались все храбрецы, у кого силища была невероятная, чтобы разбить эту дубинку и жениться на дочери короля. Вдруг слеза упала на слово «дубинку». Один храбрец разбил палицу на сотни мелких осколков. Все вокруг кричали: «Он разбил палицу! Он разбил палицу! Какой силач – он разбил королевскую палицу!» И позвал к себе король храбреца, и велел снаряжать сватов, чтобы поехать забрать невесту, дочь соседнего короля. «Я пойду туда один, – решился храбрец. – Уж как я сумею получить её у короля, это моё дело». Идёт храбрец, идёт и встретил по дороге человека, который сидел на берегу речки и пил воду. Пил, пил, до тех пор пил, пока речка не высохла.

Тут девочка перестала плакать совсем, задумалась, зачем нужно так много пить, зачем автору нужно, чтобы речка высохла?

Так в памяти и осталось: тополь, «сверчок» с заломанной ручкой, мёрзлая сухая земля теплички да ромашковое платье на краю стола. Даже фотографии отца не было.

Кто мой отец? Нельзя человека лишать кровного родства, сорок колен знать надо бы. Род формирует долги? Родовая память – в крови. Совесть будет болеть. Что происходит в душах, нарушивших закон родства? Кинограмма рода – это новая наука со старыми корнями. Если исправить, то у последующих поколений не будет повторений ошибок. Дочь уснула. И Мария уже не в силах была усидеть в квартире.

4. Белая сирень

Льются лучи солнца, утренние, чистые, ласковые. Остро пахнет деревенской весной. Мальчишки крутят велосипедные педали, обгоняя друг друга. Бросают руль, лихо руля корпусом. Набирают скорость, смеются, кричат, задорят друг друга. Улица, как весенняя река, бурлит. Берега – это дома, сады, огороды. В сараях живет зверьё: хрюкает, ворочается, сопит и почти по-человечески вздыхает. Чуть вдали – брошенный колхозный телятник с торчащими стропилами, с забитыми крест-накрест досками на больших воротах. Немного выше – церковь, окружённая дикой вишней, акацией, сиренью, тополями. Ручей бежит, картавит, как дитя, выбиваясь из-под разваленных стен. Скалятся страшные выщербленные зубы старых кирпичей, вызывая боязливый страх и желание поскорее уйти. Воробьи, голуби, чёрные вороны вылетают из глазниц-окон, поднимаются к голому, как татарский шатёр, куполу.

Дома отодвигались всё ниже, ближе к пруду, отгораживаясь, словно от дома блудницы, огородами, садами да сарайными постройками. Вот и учительские домики: раз, два, три, четыре. Один к одному, кирпичик в кирпичик, как школьные тетради в клеточку. Четыре крылечка на все четыре стороны. Итальянские окна с двумя вертикальными планками смотрятся в такие же окна школьных классов. Оля с мамой будут жить здесь, когда освободится одна из квартир, а сейчас у неё уходит целый урок, чтобы дойти до школы. А вот и школьная дверь с маслянисто-влажной металлической ручкой.

На уроке немецкого языка Оля рассказывает тексты на английском, и ей ставят пятёрки, потому что учителя английского языка в школе нет. Учитель немецкого языка занимается с ней дополнительно после уроков. И однажды спросил её, знает ли она своих предков.

- Зачем нужно знать своих предков?
- Папа и мама формируют ваше тело, здоровье, передают семейные сценарии. Это первая причина.
- Семейные?
- Бабушки и дедушки – отвечают за интеллект, способности, таланты. Прабабушки и прадедушки – хранители гармонии, радости в жизни и материального благополучия.
- Так талант от бабушки?
- Родители прадедов – шестнадцать человек – отвечают за безопасность в жизни. Шестое поколение: деды прадедов – тридцать два человека – обеспечивают связь с традициями. Тридцать два человека шестого поколения символизируют тридцать два зуба, где каждый зуб связан с каждым предком. Если у вас есть проблемные зубы, стоит наладить отношения с предками, отомолить их.
- Скучно.
- Прадеды прадедов – шестьдесят четыре человека – отвечают за город, страну. Если шестьдесят четыре человека разобрать по цифрам, то вот что получается: $6+4=10 \rightarrow 1+0=1$.
- Что за чудная арифметика иудейских пророков?
- Потом вновь первое поколение. Таким образом, замыкается круг рода семи поколений.

На уроке литературы Оля читает стихи. И тишина. Она будто ждёт этой минуты особой тишины, словно Ангел пролетел. Ангел? У каждого человека Ангел? Сколько людей – столько Ангелов. Мы живём в стране Ангелов. Её называют городской, и в звуке, в интонации, когда произносят это слово, есть какое-то превосходство, мнимое. Оля обожала смотреть по телевизору балет, особенно её завораживал в танце Николай Цискаридзе. Это был искренний набор эмоций. Экспрессия приводила её к восхищению, к очищению, катарсису. В городе она занималась балетом: была Стрекозой, Дюймовочкой, Цветком, Бабочкой. Репетиции, костюмы, выступления... Теперь наступил для неё антракт, после которого она вряд ли сможет

танцевать Дюймовочку в пуантах. В спортивном зале – брусья, кольца, чёрные мягкие маты, спортивный козёл.

На брёвнах сосновых у палисадника собирались вечером девчонки и мальчишки. И то, что комары пляшут камаринскую, достают и больно кусают, то это только смешно. Сирень сиреневая – это просто, как розы розовые, а вишня вишнёвая. Но тут белая! Куст словно в снеговых шапках.

– Оля, пойдём, я нарву тебе сирени, – клеил девочку Колюшка, хозяин палисадника – это его белая сирень.

В темноте белые лепестки светятся, как Млечный Путь. Высокий звёздный свет увлекает, манит. Какой аромат. Танцуют мотыльки на свету перед окном, как блёстки.

Оля потянулась к ветке, лепестки казались ей серебристо-волшебными звёздами.

– Ну что, Дюймовочка? – засмеялся одноклассник. – Маленькая ещё?

Ветка от звёзд стала наклоняться. Звёзды укололи её, упали на плечи россыпи лепестков.

Оля бежала домой взволнованная и радостная, и немного напуганная первым поцелуем.

Оживились лягушечьи трели: ква-ква, к вам – к вам. И грянул гром. Тучи закрыли звёзды. Она лежала в своей постели, и ей казалось, что она стала лепестком белой сирени и поднялась высоко, стала звёздочкой в Млечном Пути. Вот она оказалась в каком-то прекрасном мире.

И вдруг возле её ног опустился ковёр-самолёт. Она полетела. Вдруг навстречу Дон Кихот: «Куда несёшься, донна Оля?» – «Я хочу полететь туда, где нет холода, где круглый год цветёт белая сирень!» – «Летим вместе, донна Оля, я покажу тебе дорогу к звёздам». Они ворвались в россыпи звёзд Млечного Пути, и Оле захотелось сорвать одну звезду, как ветку сирени, она потянулась и не удержалась. И проснулась.

За окном луна круглым шаром висела над их улицей, дождь кончился.

Утром на другой стороне улицы, напротив, сирень стала белее и пушистее.

5. Полковник купил дом

Полковник Борис Константинович купил дом в деревне Клёповка, хотя хотел приобрести дом на Битюге, где учился в первом классе. И сейчас, смотря на дорогу, предавался приятным воспоминаниям.

– Деньги, как водка, делают человека чудачком, – смеялся полковник над теми, кто бросился наживать капитал. – Смех – это оружие. Смотри, в кого стреляешь! Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь. Так, Саша?

– Так, – ответила внучка.

– Детство мы проведём на воле. – В багажнике он вёз сборник рассказов Чехова, вечерами иногда любил заглядывать в него.

Он, как чеховский персонаж, посадил крыжовник и мечтал собрать всех родных на свой урожай, но пока в его машине на заднем сиденье болталась только одна внучка, её удалось выманить, хоть и не так просто, из города.

– Ой, дедушка, тише! А то мы взлетим! – подпрыгнула Саша, тронув его за плечо.

– Скорость триста сорок километров в час. Убираем шасси! Разбег уж был, теперь полёт!

– Дедушка, я взлетаю не от скорости, а от кочек на дороге. – Она держалась за водительское кресло перед собой. – Мы едем уже десять часов. А на своём истребителе ты за сколько бы долетел?

– За пятнадцать минут.

– А если бы тебе разрешили полететь, ты бы меня взял?

– Нет! – рассмеялся. – Нет! – повторил с какой-то властной гордостью. – Я на «жигулёнке» разогнался до двухсот, нос начал подниматься.

– Чей нос?

Саша обиделась и почувствовала усталость от долгой дороги. Дед громко раскатисто смеётся, но сейчас этот громкий смех ей не нравился. «А ещё похож на Гагарина», – с детской обидчивостью думала она, разглядывая лысоватый родной затылок. Конечно, дедушка её был в отряде космонавтов, но в космос-то он всё-таки не полетел, как доводил её этим двоечник с последней парты, она даже однажды стукнула его по сплюсненному черепу «Математикой». У двоечника лицо какое-то узкое, словно взяли за уши и сдавили так, что стал он похож на злого гусака, который несётся за тобой, вытянув шею.

– А почему ты меня не возьмёшь?

– Если бы я кого-нибудь из простых смертных взял с собой в полёт, то привёз бы его мёртвым. Лётчики-истребители – это люди особой породы! Нас выбирают одного из тысячи, может быть из ста тысяч. Только мы, небесные орлы, это понимаем.

– Но ты мог всё это сказать как-нибудь по-другому, вот мне уже плакать хочется. – Саша умненькая и понимает, дедушка тоже устал от дороги; она просто едет, а он за рулём.

– Ты хочешь знать правду или сказки?

– Дедушка, а где твоя человечность? Только машинность одна! И ты так учить любишь! Сейчас каникулы.

– Не спорь со мной!

Наконец за окном замелькали маленькие деревенские дома, окна в крестик, запестрели красно-сине-зелёные заборчики палисадников. Кровли шиферные и железные, дощатых из дранки и щепы, как в Подмосковье, нет. Вот грудастый дом, крупный, дородный, к такому-то и подойти страшно, смотрит свысока чердачными окнами.

– Ой! Тормози! Дед! Задавил... – Саша кинулась к заднему стеклу: рябоватая курица отчаянно взмахивала крыльями, точно пыталась взлететь. На помощь ей нёсся белый петух. – Глупая! Под колёса кидается! Ой, пахнет коровами, закрой окно.

– Купим лошадь. Надоела четырёхколесная железка. Как ты смотришь на это?

– Здорово! Гляди, церковь...

– Остатки времени.

Церковь была давно заброшена, но издали сохраняла какую-то величественность. На большом расстоянии не видно, что лик её смертельно обезображен. Разрушаясь, она уступала будто не времени, а людям, словно терпеливо ждала, пока пройдёт время забвения.

– Дедушка, а почему сейчас опять начали в Бога верить?

– Я был в небе, и, поверь мне, ничего там, кроме неба, нет. А вот мы и подъезжаем. Приготовься, пристегни ремни!

– Отстёгивайся, дедушка, – смеялась над ним Саша.

– Хватит летать, спускайся на землю. Вот и твоя Клёповка.

Саша вышла из машины, голова кружилась, и ноги стали ватными. У дома напротив, на брёвнах – мальчишки. Они молчат и смотрят на неё.

Мальши соскочили и подошли к машине, водили пальцами по запылённой голубой краске, смотрелись в зеркальце.

– Чтобы машину пальцем не трогать! Приказ понял?

И только полковник зашёл в калитку палисадника, Зуёк с каким-то торопливым усердием толкнул девчушку от машины, и она упала, может быть, не от силы удара, а от неожиданности, и заплакала.

– Тебе сказали, не лезь! – кричал на неё Зуёк.

С брёвен тут же соскочил Женёк.

– Слушай меня, Зуёк, – ткнул он в обидчика пальцем, словно в деревянную куклу. – Если хочешь выслужиться

у полковника, то служи, а не кидайся, как пёс. Здесь никто не боится твоего брата...

– А ты ничего, симпатичная даже. – Женёк подошёл к Саше. – Пойдёшь с нами на Дон?

Полковник, оставшись один, стал вспоминать, вглядываясь в старые чёрно-белые фотографии с Андреем. Он вспомнил: 1988 год, Москва. Джо второй раз в Москве. Приятная манера говорить, хорошая подача, нетруден в переводе. Пришёл на переговоры с сыном, чем удивил и переводчиков, и хозяев Кремля. Переводчику предстояла трудная задача – влезть в шкуру Джо, изучить его язык, интонацию, жестикаляцию. Переводчик в дипмиссии – это не фрилансер. Тут своя химия отношений, строгая по протоколу и неожиданная, как вихрь в чёрной дыре. На разных языках эти сигналы говорят о разном: это источник слов – не единственная информация. Культура США имеет свои аллюзии.

6. Дипломат и помощник

Дипломат одевался продуманно к каждой встрече, как артист, выходя на сцену, настраивался и психологически.

Представляя себя Октавианом Августом, как называла его мать в минуты особой ласки к сыну. «Август» было как приложение к титулу императора, а теперь и к титулу дипломата.

Готовился тщательно и одевался изысканно, если того требовала ситуация. Американские рубашки и английский галстук идеальны. И с женщинами сохранял он эту показную элегантность, обаятельно улыбаясь. Сдержанный и воспитанный, он мог обаять почти любую. При этом сам свои эмоции не выпускал из-под контроля. Всё у него, каза-

лось, должно быть необычным, с каким-то своим шармом, изюминкой, блеском, словно в спектакле Шиллера у советника королевы Марии Стюарт. Тема выбора – его конёк. Вводить себя и других в режим крайнего существования, идти вверх до последней верхней точки, доводить спор до точки кипения. Способность идти к цели он развивал в себе ежедневно самоконтролем.

Мария Стюарт, Мария Стюарт! Призрак по Европе бродит. С именем Мария судьба сталкивала его и ещё столкнёт не раз. Но он, не доверяя судьбе, делал её сам. По сути, Марией Стюарт была и его жена. Под её влиянием он совершенствовал свой английский. Училище и техникум учащиеся звали «чушок». И он пошёл учиться после чушка дальше. Потом вуз, затем вместе пошли в аспирантуру, отдав сына родителям в деревню. Жена пробивала дорогу в тесной толчее карьерной. Она шла на полшага впереди? Быть или не быть – решала она. Быть!

И, будучи в заграникомандировках, вживался, входил в другой образ, трансформировался в иную культуру. В свой кабинет старался никого не пускать – это его гримёрка. Ему было достаточно молчать, смотреть в глаза, и собеседник невольно подчинялся ему. Он в юности выучил английский самостоятельно и постиг радость в этом процессе. И словно сам с собой разговаривал, как учитель. Он полюбил театр и, смотря один и тот же спектакль по несколько раз, понял, где тайны мастерства, а где талант. Достигнув высокого мастерства, можно стать средним актёром или хорошим писателем. Имея талант, можно быть никем, но можно стать великим писателем, обогатив свой талант высоким мастерством. Он мог бы быть хорошим часовым мастером, а стал хорошим дипломатом. Во времена революции он, наверное, не был бы революционером, но во времена сталинизма он как чиновник преуспел.

Андрей взял себе помощником Шевченко. Молод, продвинул, дисциплинирован и главное – трудолюбивый хохол.

«Я достиг высот, но жена меня не любит, а просто выполняет обязанности. Это удобно, но разве это награда за моё отречение от своих привычек, своих страстей?» – так думал дипломат. Но что же это? Желание достичь высот пирамиды – это не просто желание славы, но и любви. Все великие люди были вознаграждены любовью. А моя жена меня не любит, выполняя свой супружеский долг. Живёт со мной, словно долги отдаёт. А я?! Кому и что я должен? Сыну? Дочери? Жене?

Андрей научился переводить сложные понятия в простые для тех, кто «в танке» и не понимает с первого раза. Он хотел сделать их жизнь комфортной и в общении с ним. Это как сухарики размочить, чтобы кормить голубей.

Что такое дипломатия? Андрей не мечтал, он шёл, не останавливаясь, к вершине своей карьеры. Работа стала для него всем. Он уважал интеллигентную породу дипломатов, которые посещали вернисажи, ходили на симфонические концерты и в театры.

Театр, везде театр. «Марию Стюарт» он посмотрел уже три раза. Но тот праздник не повторился. И он вспомнил, как сидел спиной к Евдокии и чувствовал её так, будто была она рядом, очень близко. Его телохранительница? Но ведь не прикажешь же! Он слышал, как она попросила зеркальце у подруги. «И даже в зеркале ей отказали. Покамест будет в зеркало смотреть, лелеять будет дерзкие надежды. Нет книги, подходящей для души, чтобы развлечься», – играли маски на сцене. У него слишком хорошая память на лица, и легко даются языки. От мимолётных женщин оберегала его жена-ровесница.

Но мысли не давали ему покоя, и он искал выход. Мысленно называл её Мария Стюарт. Сталина нет, всех царственных отличий он лишился. Но осталась его маска, тень,

стиль. Маски будущего, какие они? Кто сорвёт маски? Короли и президенты. Какие противоречия эпохи вскрывает смена власти?

7. В деревне

Кто же из нас не любит реку, которая напоминает ему детство. Оля уходила к реке и грустила, глядя на пробегающую мимо воду. Но вода быстро уносила грусть.

Мария увидела в руках дочери «Тёмные аллеи», и всколыхнулось в глубине души, – вот и её девочке нужно будет пройти «тёмными аллеями». Ни одной новеллы о счастливой любви, чтобы жили они долго и счастливо.

– Бунина читать будешь, и каждый раз будто впервые, это как любовь, – сказала она дочери.

Оля заметила, как мама сжимает одной рукой другую руку, она знала, что от дойки болят руки, она парит руки на ночь в солёной воде, а потом перевязывает шерстяными ниточками на сгибе в кисти, такие же ниточки Оля видела у бабы Дуси. Оля понимала, что в деревне строится новый дом, и чтобы дали в нём квартиру, надо быть и учительницей, и дояркой.

– Мама, я завтра пойду с тобой на дойку. Разбудишь меня?

– Научишься ещё. Коровы могут глаза хвостом высечь.

К прикреплённой доярке в группе они привыкают, а я ведь подменная. – Руки гудели от боли. – Честно сказать, доченька, я, когда соглашалась, не думала, что это так тяжело... Теперь как отказаться? Все помогают мне: кто одну, кто две выдоит коровы, а если я брошу – им отпуска летом не дадут. Мы и так здесь чужие, надо терпеть, привыкать. Да и зарплата моя в школе – ничего не купишь, только долги... Ладно, ты читай, а я быстренько до бабушки, а то обещала.

Мария привыкала к новой жизни, она понимала, что главный промысел местных жителей не работа в совхозе, а огурцы. Здесь приспособились выращивать ранние

огурцы. Деревню так и звали «огуречная». У каждого своя скважина для полива огорода, мотор гудит с утра раннего, шланги по всему участку, как вены. Пульсирует водичка, течёт, питает землю. По сорок, по шестьдесят соток огурчиков выхаживают. И машины, и мотоциклы почти в каждом доме. Деревня, в общем-то, не бедная.

– Заходите! Открыто! – крикнула в дверь баба Дуся. И, увидев Марию, пожурила. – Что стучишься? У нас тут всё просто. Раньше-то в этом углу телята новорождённые были, стены грибком покрывались, плесенью. В стене-то кривизна была. Проходи, проходи, пожалуйста. Вот я в окошко всё смотрю. Слышь, как на брёвнях у нас смеются? А вчера так целовались, так целовались... А на нашем крылечке так слышно, так слышно... Только из пелёнок повылезали.

Евдокия протёрла полотенцем табуретку, придвинула:

– Деду моему гемоглобин крови повышать надо. А сил у него бодрой волей ходить на другой конец в медпункт нет. Поделай уколы ему. Может, ещё встанет дед-то мой. Да пчела брошена. Пропадает без него. Жалко.

– Гемоглобин? – Мария чувствовала, что жизнь эта проникает в неё, втягивает в свои неписанные законы.

– Как возле магазина соберётся всё наше политбюро, так всё про всех решение выйдет. Внучка моя хорошая, умная. Слава Богу за всё. Доча, тут тобой один человек интересовался...

– Мной?

– Да, из новых русских, что дом-то под дачу купил, говорит, что жена у него больше года как умерла. Ты ведь ещё молодая, одна всё равно жить не будешь. А в деревне-то что за мёд?! Доча, и о себе подумать надо. По общежитиям, как в казармах. После войны так жили. Как же тебя выселили, ты же с дитём? В администрацию бы сходила.

– Мама, устала я...

– Доча, кто сейчас не устал? – Евдокия упёрлась локтем в коленку, подбородком – в кулачок. В зрелом возрасте взгляд другой, с прицелом, на двадцать лет вперед видит. – Зря квартиру потеряла.

– Я видела, как унижительно выселяли женщину с двумя детьми. – Мария прикрыла глаза, воспоминания сильно волновали её. – Следующая на очереди была я... Как бы я работала в школе после этого?

– Надо было погодить... Может быть, не тронули бы, не решились, ты всё-таки учительница.

– Повестка в суд была. В юридической консультации сказали, что не имею права на служебную жилплощадь, если разошлась.

– У них своё право, у нас своё.

– Мне о ребёнке надо думать. Мне в Обкоме партии коммунистов посоветовали сюда. Я, когда приехала, всё ночами не спала, руки сводило, скрючивало. В группе коров было тридцать, все мычат, хвостами бьют, так и смотри без глаз останешься. А я в городе выросла. С какой стороны к корове подойти-то не знала. Привыкла.

* * *

Баба Дуся любила реку, и когда неважко становилась суета домашняя, брала удочки и уходила на рыбалку. Посидеть у воды бегущей да отдохнуть, да в себе покой найти. Вчера она увидела – по лугу шествует ватага детворы, поэтому рыбалка-то не удалась. Но уходить она не спешила, скоро вечерняя зорька, а ребятишки пошумят, взмутят воду да уйдут. Вдруг видит – за ними идёт настоящий рыбак: снасти городские, а не удочки из орешника. Сейчас дед не годен на рыбалку, лежит, и она взяла свою и его удочку, может, что и у него клюнет. Придёт, скажет: «Дед, а твоя-то удочка клевала-клевала...»

– Порыбачить решили, бабушка? – удивился полковник местной рыбачке. – Клюёт?

Баба Дуся бросила смотреть за удочками, встала, поправила голубой платочек.

– Курите? – достала помятую пачку «Беломорканала», приводя полковника в восторг удивления. – Мои попробуйте.

Полковник из уважения, чтобы расположить человека, взял, прикурил.

– Вчера что по телевизору видела, – спешила баба Дуся определиться со знакомым. – Опять государственный деятель говорил, что надо Америку приглашать...

Помолчала. Но, чувствуя, что разговор не пойдёт, быстро сменила тему.

Баба Дуся хотела разговорить полковника, но он всё молчал.

– Директор должен быть профессионал, чтоб он мог всех сплотить, – она говорила так, как говорит телевизор, когда включён на всю громкость. – Вот Андрей умел.

– Садитесь.

– Зачем же? Здесь твоё место... Я мешать не люблю. Поймал?

– Двушку поймал.

– Покажь! Сом! Редкая птица. Ты, я вижу, не рыбу пришёл ловить, а за ребятами приглядываешь. Так дом купил ты?

– Я. Перестраивать надо, работы не на одно лето.

– Хороший дом. Так полковник, значит... Слыхала.

– Лётчик-истребитель.

– Высоко летал. А мои квартиру снимали – двушку. В городе. А теперь выгнали их.

– Жизнь, бабушка.

– Да какая я тебе бабушка?! Ты весь седой, а у меня вот лицо в морщинах, а седых волос ни одного нет. С какого ты года-то?

– Да и я – дедушка. Внушку сюда привёз.

– А как же я была с двумя, родных никого, зарплата шестьдесят рублей. Двое детей, одеть, обуть, прокормиться. За квартиру тридцать пять рублей. Мне было всё легко, да потому что я росла с десяти лет без мамы. На ребёнка пять рублей в месяц. Хочешь верь, хочешь не верь. Мне врать незачем.

– Как тебя зовут-то?

– Дуся, – и добавила, словно вспомнив, – Евдокия я. Молодая в Москве жила. Там Андрей тогда был главный дипломат, он и сейчас всё это сделал.

– А по отчеству? – голос у полковника прозвучал мощно, командно.

– Его не положено называть. Одна родила и назвала, а ребёночка-то у неё сразу отняли. Лишили.

– Его я знаю. Сушки с вареньем и чай без огурчика пил с дипломатами. Железный кулак, бархатные перчатки. Кристальной чистоты дипломаты. А тебя как по отчеству?

– Евдокия Дмитриевна, – и махнула рукой. – Что уж там, на рыбалке все равны; в руках только удочка и червяк, а рыбка она нас не видит, у кого клюнуть нас не спрашивает.

– Ты, небось, с войны куришь-то?

– С войны... Бросала, да не могу. Теперь уж как умру, так и брошу. С двадцать третьего я... А это всё Андрей делает. Он главный дипломат был, с дипломатом чёрным ходил.

– В войну, значит, невестой была... А мне как раз в школу пойти, как война началась. Четыре года войны – это каторга. Понимаю.

Баба Дуся дёрнула удочку, на конце два крючка: на одном – кончик обгрызенного червяка, на другом – пусто.

– У меня вся жизнь каторга, – взяла жестяную консервную банку с червяками, самого толстого на наживку. Ничего, живу.

Полковник увидал, что поплавок потонул. Подсёк. На берег выскочил лещ, забился.

– Ну, Евдокия Дмитриевна, бери свою рыбку.

– Нет, Борис Константинович, я рыбку дождусь свою.

Моя рыбка сама ко мне приплывёт. Ведь дело не в ухе, а в удовольствии. Как посижу у речки, так весь день душа спокойная. «Будете наказаны теснотой», – читала ещё мне бабонька по писанию. Вот щас в городе-то и живут друг на дружке, а в автобусах-то... Каждый день туда-сюда, туда-сюда! Это не жизнь, это тёмное. Бедноты-то, как травы в поле. Да и раньше были такие, что с детьми по свалкам ходили!

– Клевета! – оборвал полковник, словно выстрелил.

– Как клевета?! – подступила к нему баба Дуся, вырывая с кровью крючок из рыбьей головы. – Сама видела, сама бутылки собирала, чтоб прокормиться, – выбросила леща в реку, трянула пачкой «Беломорканала», вынула одну папироску, закурила. – Ты хоть и полковник... – хотела сказать, что и полковники бывают дураки, но удержалась. – А права тут свои не устанавливайте. Я сроду слова зря не скажу. А что знаю, то мне сказать никто не запретит, нету такой власти. Много властей-то сменилось, а народ-то один. Народ правду любит. Вы не думайте, что я жестокая. У меня натура справедливая. У каждого правда своя, а у Бога одна.

«Правда она разная, у каждого своя», – полковник подумал – «в чужой монастырь со своим уставом не входи», – и промолчал.

8. Полковник

Воспоминания нахлынули на полковника, как шквал, как атака, как рокот космодрома. Борис попытался справиться с ними, найти какое-то логическое объяснение всему, но память вытаскивала то одно, то другое, и опять всё смешивалось. Вышел в сад, но трава, трава у дома и деревья не ра-

довали его, не дарили ему бодрости, как неделю назад. Лето не весна, нет ожидания новизны. Вышел на улицу. Полковник решил идти на таран – надо сказать всё. Небо его научило принимать один раз решение и действовать. Решительно шёл к дому без палисадника, где жила мать Марии. Ему нравилась эта учительница, которая готова и коров доить, чтобы не потерять ребёнка, и выжить, получить свой угол.

– Присаживайся, Константинович! – окликнула его Евдокия, сидя на лавочке. – Не спится? Городские-то дачники до обеда дрыхнут.

– Я лётчик, я люблю летать ночью, а не спать!

– Ух! Страшно, верно, было там в небе? Они вон как летают, аж здесь душа дрожит.

– Я военный человек. У нас измерения другие. Небо без границ. Я пишу книгу. Любители, а не профессионалы делают историю.

– Ты как граф Толстой.

– А ты читаешь?

– Я люблю читать исторические книги. Сколько царей было, а ни одного хорошего. Пишут про всех, что грабили народ.

– Я тоже свою книгу написал. У меня каждый день расписан был: везде приглашают, просят выступить в библиотеке, рассказать о лётчиках в школе, в военном училище.

– Тяжело одному-то жить.

– Первая жена погибла в автомобильной катастрофе, тогда Петеньке было три года. Любовь в лучах восхода растворилась. Потом вторая жена, со своей дочкой Кирочкой, черноглазенькая.

– Курица петуха петь заставляет.

– Эх! Двумя ногами отпихнул бы себя от греха. Никита Михалков такое не покажет, – поднялся, усмехаясь, полковник со скамейки. – Жизнь как кино. Дочка мне твоя нравится, золотая.

– Так сам ей и скажи. Она вечером у меня будет, и ты заходи. Чай с мёдом попьём да с душицей. У меня такие травы!

Полковник ждал встречи с Марией, словно испытания нового истребителя.

На скамейке под тополем сидела Евдокия, словно поджидала его, и курила «Беломорканал».

– Пошли, пошли. Душица уж настоялась, и мёд на столе.

Мария не удивилась, увидев полковника, точно тоже готовилась к разговору.

Посидели полчасика, попили чай с пирогами, и Евдокия вышла, оставив полковника с дочкой.

– Маша, пожалуйста, выслушай старого человека, мне, может, осталось немного. Я должен для кого-то жить.

– Зачем вы наблюдаете за мной? Вам приятно видеть, в какой мы грязи и как я выбиваюсь из последних сил? Я никогда не жила в деревне, к корове боялась подойти, – чуть не расплакалась она, но сдержала себя. – Но теперь я свободна!

– От кого свобода? – спросил и подумал: «Тоже мне, гордая орлица! И я таким был, когда летал. Пришло время, спустился, по земле стал ходить». – Где доказательство, что это справедливо?

– Вы читали, конечно, Достоевского?

– Не читал и не буду. В жизни должно быть всё светлое, утверждающее. Хватит разрушений! Достоевщина не для меня. Я читаю Чехова.

– А «Идиота» читал?

– Метания князька меня не волнуют, я – коммунист. Его отец разъезжал на тройке по балам, а мой дед горбатился – землю пахал. Счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча. А без этого молчания счастье было бы невозможно? Это общий гипноз. Но на меня гипноз не действует.

– Перерабатывая записи в рассказ, автор создаёт заново мир, художественный. Герой далёк от самого автора. Полифония у Достоевского и у Андрея Платонова – это о разном. А князь Мышкин – это же такой светлый образ в мировой литературе! Что же вы не читаете Достоевского?

– Что делает ваша литература? От Шекспира до наших дней на всех языках – тысячи новорождённых донжуанов и донжуанчиков. Кто создал образ мужа? Ты пойми, сейчас я Оле нужен, она растёт без отца в доме. Ты никогда не сможешь потом исправить эту ошибку. От жизни не спрячешь.

– Лучше никакого опыта, чем отрицательный.

– Сидит человек в грязи, оскотинился. Ему другого надо в грязь столкнуть. Я тоже в нищете рос, мальчишки с нашего барака воровали. Помню, раз на шухере стоял, – глаза заиграли, помолодели. – Я в девчонку влюбился. Сидел с ней все восемь лет за одной партой, отличником для неё хотел быть.

– Вам повезло.

– Может, ей? – он продолжал улыбаться, и лицо его молодо светилось. – Мне нравится, как Саша подружилась с Олей. Свожу Олю в Москву, там музеи, театры, Красная площадь, Соборная площадь. Детские годы не вернуть, сейчас у них день за два идёт. А захотите вернуться в деревню – вот вам дача. Ради детей уедем отсюда, уедем.

– В Москву, в Москву, в Москву, – она, как в театре, рассмеялась и захлопала в ладоши. – У меня всё хорошо, так мне и надо!

– В деревне, – он хотел, чтобы она ему поверила, он к этому разговору готовился давно, а вот слова все забыл. – И я вам нужен. Я одинок, мне нужно за кого-нибудь зацепиться, чтобы смысл в жизни был. Не осуждай меня. Здесь для Оли нет будущего. Ты слышала, девочка отравилась, в реанимации умирает. Надо вас спасти – увезти.

– Как же Саша?

– Я отчим Кире! – он сжал пальцы в замок: не говорил никому, а тут проговорился. – В небесах буду облаком плыть, – переждал, пока от сердца отлегло. – Самолёт – это что-то не земное: горизонты другие, небо – космос.

– Ну а девушки? Потом?

– «Первым делом, первым делом самолёты...» Летишь по коридору белых башен из кучевых облаков. Тут день, там ночь. На земле лето, в небе – льдом покрываешься, – замолчал, посмотрел прямо в глаза. – Я буду хорошим отцом Оле. Где она? Ты знаешь, что тут произошло? Похороны. Эта девочка – ровесница твоей дочери. Где сейчас Оля?

9. Профессор и аспирант

Новые технологии по срыванию масок – это ДНК. Программа Малахова заставила многих задуматься о кровном родстве, об отце. Это побуждало людей всё чаще перелистывать страницы истории своего детства. «Моя мама – дочь дипломата? Одна законная, росла в роскоши и любви, другая – на дне?» – спрашивала она себя. Мать рассказывала ей эпизоды из своей жизни крайне редко, как бы невзначай. Но была в них какая-то логика. Мать ей говорила ещё в перестройку, что всё это сделал Андрей.

Дипломат двадцать восемь лет был главой советской дипломатии. Весной 1985 года на Политбюро он предложил Горбачёва. Дипломат ушёл в отставку в 1988 году на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР – главы советского государства. Был великим дипломатом советской эпохи. И был ли он её отцом?

Теперь информацию можно получить, не выходя из дома, а во времена СССР нужны были специальные разрешения, чтобы иметь доступ к архиву.

В 1944 году советская делегация в Вашингтоне с его участием. Создание ООН. 1945 год. Руководил делегацией в Сан-Франциско. В 1940-х годах двадцать раз он использовал право вето в Совете Безопасности ООН. Была сотня предложений по разоружению. Карибский кризис до сих пор не вышел из зоны дискуссий. В 1963 году был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх средах. Договоры такие как: об ограничении систем ПРО (1972), о принципах взаимоотношений между СССР и США (1972), о недопущении ядерной войны (1973), об ограничении стратегических вооружений в 72-м и 79-м годах.

– Я не знаю, кто это натворил, но у меня дипломатическая неприкосновенность.

– Что?

– Настоящий дипломат всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить.

– Это уже шапито, как говорит наш шеф.

Кира стала из разрозненных фактов и фраз собирать историю своей родословной.

Кира стала студенткой престижного вуза Москвы. Она старалась не пропускать лекции и семинары, подрабатывая в театре Арцибашева, репетировала Цирцею. Дочь солнца, волшебница, училась смотреть на партнёра-Одиссея. Она знала, что он покинет её.

Профессор Гусев любил беседовать со своими аспирантами о тайнах перестройки.

– Женская логика – это женская чуйка. Бабская литература – страшное испытание, – Гусев не признавал женских романов. – У Чехова в «Драме» писатель убил графомана.

Антонов говорил:

– Вообще все эти антисталинисты большие оборотни. Сперва кричат: «За Сталина!», а потом поносить его же.

– Что ты говоришь! – закричал Гусев, он уже был под хмельком. – Причём тут Андрей? Это историческая необходимость.

Антонов:

– В 1955 вышла книга «Экспансия доллара». В 1983 году – «Внешняя экспансия капитала: история и современность».

– Это всё прошлое, – махнул рукой Гусев.

Антонов возразил:

– Союзный договор 1991 года говорит, что Горбачёв хотел сохранить единую страну.

– Всё это было сходу отмечено Ельциным в августе 1991 года, – возразил аспирант.

– Ошибка Горбачёва заключалась в том, что он не стал бороться, а опустил руки и смирился с развалом.

– У него на тот момент была легитимная верховная власть, армия, КГБ, – вставила Кира и своё слово.

Антонов сказал:

– Иностранцы «специалисты», дирижировавшие Чёрным Октябрем в 93-м, шесть американцев, выбиравших за нас и для нас президента 16 июня, 3 июля.

– Систематический диктат Международного валютного фонда, – прошипел, как гусак, Гусев.

– Всё это признаки несuverенности страны в главном и основном, в возможностях распоряжаться собой по собственному усмотрению, – добавила с насмешкой Кира.

– Власть переходит к Западу.

– Или США.

– Это гарант невозврата.

– У руля остаются те же люди, что и при советах.

– Советов давно нет. И не было.

– Дипломат этот дважды отмечен Государственной премией СССР. Книги его у меня есть. Я его знал лично. Нестыковки в протоколе 1985 года. Несуразности.

– Правда? – удивилась Оля.

– Вы хотите развеять красивый миф о Мистере Но? – кашлянул профессор.

– Кем он был? Одним из антисталинистов? Или антисоветистом?

– А какова марксистская риторика в «малом» Политбюро? Выслал и Солженицына, и Сахарова. Шевченко, правая рука Андрея, перебежал. В школе дразнили меня «водокачкой, стала стукачкой».

– Уважаю за профессионализм! Он выработал свои навыки дипломатии.

– Тихо и скрытно работать? Миф «Мистер Нет» в том, что он отстаивал СССР перед американцами.

– Отношения с США? Тут капиталистические принципы, навязываемые СССР.

– Деревенский парень. Происходил из кулаков шляхетского рода. А отец его уезжал на заработки в Америку. Он Горбачёва выдвинул так высоко...

– Дипломат промахнулся с генсеком.

– Риторика прикрывала его истинное влияние, и это просто элементарное «прикрытие» сути. Ратовал за продажу природных ресурсов. И вот мы – колония?

Антонов уже переходил на юмор:

– Его принял в Ватикане папа.

– Он не мог выиграть в спорных делах. И во время Карибского кризиса 1962 года переговорщиком был с американцами Кузнецов. Игрок погнался за картой, которая ему выпала.

– Крым – это наши Карибские острова.

Антонов наблюдал за этой странной салонной полифонией, каждый невольно демонстрировал свою идеологию. Хозяйка салона на всё идёт ради тряпок, дач, квартир. Всё напоказ, и своё мещанское рыло.

Он продолжал поддерживать разговор в компании:

– Хрущёв говорил, что, мол, скажи этому дипломату снять в морозный день штаны и сесть... на лёд, он и это сделает. – Кира усмехнулась, словно говорила о личной обиде. – Хрущёв на встрече в ООН вещает миру «кузькину мать» и стучит ботинком по трибуне. Агрессивная риторика.

– Хрущёв стучал по трибуне, а дипломат кулачками бил тож, – усмехнулся Антонов.

– Знай, в правительстве не любят и не уважают твоего Андрея... Салтыкова бы Щедрина на него...

– А славянофилы? – возразила Кира и поправила волосы

– Шевченко – лучший друг Андрея – перебежал.

– У нас заочно приговорили его к высшей мере наказания.

– Посол защищал Шевченко, требуя прекратить слежки.

– О! Ты не перебежчик ли? – смеялась Кира.

– Он не просто выступил на заседании политбюро, а сразу же, как Горбачёв его открыл, не раздумывая ни секунды, встал и сказал: «Предлагаю генеральным секретарём ЦК КПСС избрать Михаила Сергеевича, – Антонов встал и вышел.

10. Приезд в Москву

Приятно вспоминать людям из глубинки, как первый раз приехали в Москву.

Подъезжали к МКАД. Движение на трассе стало мощнее, будто вошли в большой речной поток из маленькой речки. Полковник стал зорче следить за обгоняющими его иномарками.

– Ты посмотри, – мельком взглянул на Марию, он волновался, как его дочь встретит женщину. – Столько аварий! Что же вы хотите сказать, за рулём-то мальчишки! Спешат! Гоняют, как на истребителях.

Мария оглянулась. На заднем сиденье были Оля и Саша.

– А что дальше? – заглядывала нетерпеливая Саша в «Сказки народов мира», потирая кончики большого и указательного пальцев.

Оля прикрыла книгу, держа пальчик между страничками. Сказка для Саши была интереснее Москвы, которую, как ей казалось, она знала как свои аристократические пальчики на прелестной ладошке. – Давай дочитаем!

– Кто разобьёт эту палицу вдребезги, за того я выдам замуж свою дочь!

Оля говорила, не открывая книгу, и Саше стало это обидно:

– Ты это читала?

– Нет, не читала, а если ты читала, то расскажи, что было дальше.

– Я могу тебе и до конца рассказать – все сказки одинаковы. Один принц разбил эту палицу, и король отдал в жёны свою дочь... Все сказки одинаковы.

– Нет! Понимаешь, король велел сыграть сразу две свадьбы: он женил своего сына на дочери другого короля, а силачу отдал в жёны собственную дочь.

– Ну и что? Я всё правильно отгадала.

– Как что? Он ходил, совершал подвиги, нашёл себе невесту, пройдя через такие испытания, а у него отняли.

– Глупая! Ему-то досталась тоже дочь короля!

– Но ведь он не ради неё совершал подвиги! А ему просто заменили... А сказка заканчивается, что все счастливы, вот: «Обе молодые четы жили потом долго и так хорошо, что лучше и не бывает».

– Чувствуешь тут иронию: «лучше и не бывает».

– Нет тут никакой иронии – король велел, и всё! «То-то было веселья!»

– Это ты уже сама придумала?

– Нет, – Оля начала листать книжку. – Там есть одно место: «Когда король увидел, что силач вернулся – удивился:

“Как же тебе всё-таки удалось получить у короля невесту без сватов?” А силач отвечает: “Как удалось, так и удалось, это уж моё дело, как я её получил. Просто я произвёл на него слишком сильное впечатление”...»

– Рано вам ещё о слишком сильных впечатлениях разговаривать! – укоротил девочек старый полковник. – Перед вами древняя столица Руси, а вы какие-то албанские сказки до дырок читаете. Восток – дело тонкое. Или вас в гарем потянуло? Пристегнуть ремни, приземляемся!

– Дедушка, у нас тут ремней нет. Оля, а ты что все эти сказки наизусть знаешь? Во даёт! Ты что, их учила?

– Нет, просто это ещё мамина книга, когда меня ещё не было...

Борис Константинович любил бывать в Москве, но жить здесь не смог, что-то мешало чувствовать себя раскованно. Однако всегда, пролетая над Москвой, он стремился отыскать тот дом, к которому он мчался и в этот приезд. Когда он долго не был в Москве, Красная площадь ему виделась особенно величественной. Москва притягивалась к ней, как к магниту. Даже в небе на высоте восемнадцати километров чувствовался этот магнетизм. Полковник хотел открыть это чувство для Оли сам, как открылось ему это за всю жизнь, с того дня, когда босоногим мальчишкой пробежал он по отшлифованной столетиями брусчатке. Ему хотелось, чтобы Оля увидела не просто большой город, но тот, который жил в его душе.

* * *

Утром Борис встал раньше всех, эти часы он любил – и голова свежая, и сил много.

– Мария, доброе утро! – приветствовал он, зайдя на кухню. – Что так рано? Чай пьём?

– Всё вскакиваю – не проехали ли мимо доярки, – рассмеялась. – А хорошо утром в Клёповке было, да?

– Забудь, если ты на орбиту мою вышла.

– Кофе будете?

– Спасибо, – ему нравилась её заботливость, которой не было у Киры, хотя мать её была истинной домоседкой и любила дотошную кухонную стряпню. – У нас сегодня интересный план знакомства с Москвой, хочешь прокатиться с нами?

– Оле будет свободнее без меня. Я вам очень благодарна за неё.

– Мы не чужие. Я только для вас сюда и приехал. – Затем крикнул девочкам: – Оля! Я вас уже ожидаю.

– Дедушка, мы сегодня с Олей пойдём сами, – не открывая глаз, буркнула Саша. – Я буду ей показывать Москву. – А Оле шепнула: – Я познакомлю тебя с одним парнем. Такой классный! Илья второй институт кончает – всё знает! С ним побродим по городу, а чего со стариками ходить, да? А у него кинокамера ништяк! И вообще он всё-всё знает.

Борис Константинович спорить не стал:

– Кто рано встаёт – смотрит на восток, кто любит поспать – идёт на закат... У кого внуков нет – гуляют с собачками, – он проговорил это больше для себя, чем для кого-то. Не хотят его участия – тем лучше для него.

Мария чувствовала себя не очень уютно в большой московской квартире. Прихожая больше, чем её комната в деревне. Здесь всё накапливалось годами, бабушками и дедушками, создавалась некая музейность, но старина не утяжеляла, напротив, дополняла современную обстановку.

– Мария, к нам сегодня придут интересные люди, – Кира хотела разрушить отчуждённую учтивость. – Не уходи... Тебе не будет скучно.

– Я поброжу по Москве.

– Возвращайся быстрее... Если заблудишься, звони.

– В Москве нельзя заблудиться, метро всё связывает.

– А куда, если не секрет, ты хочешь пойти?

– Не секрет... В музей Достоевского.

Кира прошла в просторную, двадцатиметровую ванную.

– В музей? С девочками? Да, там пространство, конечно... не сосчитать, сколько людей. Мне даже кажется, что у всех движения, глаза, звук голоса от этого меняется. Огромное влияние друг на друга, – сказал полковник.

– Тебя что-то тяготит, потому что мы приехали? Ты уже сказал дочери? Как твоя дочь к этому отнесётся? – Мария волновалась.

– Это касается только меня. Что ты хочешь ещё спросить?

– Август 91-го, – она напряжённо смотрела на него. – Что с нами будет через 30 лет?

– Вот тебе и август! Заводы останавливаются, колхозники, как коровы недоенные, разбрелись и мычат, но не телятся. Вы откуда приехали? Государство-то уже давно развалилось, ибо государство не Бог.

– Удивительно точно. По Чехову. Пари по поводу смертной казни. У банкира в саду юрист сидел лет двадцать, кажется?

– Ах да! Вы же государство меряете надоями молока. Закрыта Третьяковка лет десять и теперь откроется, может, только через тридцать лет. Мы больше не увидим ни Крамского, ни Репина. Перестройка, распродажа, аукцион. А ты часто там бывала?

– До сих пор закрыта? Больше десяти лет? – удивилась Мария.

– Ты представляешь меня каким-то монстром. И боишься любить. А я тепла хочу, общения. Мне кажется, мы наблюдаем, изучаем друг друга.

Мария промолчала, уловив раздражение, которое он прикрывал насмешливостью.

11. Салон Киры

Кира слушала и смотрела по телевидению программу Аллы Пугачёвой. Как хотелось и ей выглянуть в окно, а там увидеть миллион алых роз. Но пусть художник будет не бедным, а богатым и успешным. Она считала, что в её роду были князья. Но древо своего рода она ещё не составила полностью. Кто бы ей помог?

Звонок в дверь, кто-то пришёл.

– Познакомьтесь, Фёдоровна. Я как Анна Шерер у Толстого.

Фёдоровна давно была в доме своим человеком. Сначала эта пожилая женщина приходила разогреть обед для Сашеньки, потом стала помогать в уборке квартиры, и как-то так незаметно сделалось, что стала просто необходимой, незаменимой. Раньше Кира дарила ей на праздники и на день рождения хорошие подарки, потом, когда пенсия превратилась в нищенскую подачку, убедила соседку брать за свою работу деньги. Кире стало легче, перестало тяготить чувство зависимости, а соседка, всякий раз, получая деньги, терялась, не знала, что сказать и куда смотреть.

– А это наша Мария. Приехали посмотреть Москву. Фёдоровна, вы у нас коренная жительница, доверяю вам их, как гиду.

Хозяйка оставила их вдвоём, полагая, что они быстрее поймут друг друга.

– Ах! Какое счастье, что я вас вижу! – в голосе Фёдоровны была какая-то приветливая теплота, что-то родственное, участливое и понимающее. – Как вам показалась Москва? А я, знаете, Москву не очень люблю, я ленинградка... Хотя и Ленинград сейчас не тот. Раньше вот идёт человек, курит, и не бросит свой окурочок, потому что кругом ни соринки.

– Вы? – Мария удивилась, глядя на эту хорошо сохранившуюся женщину. – Вы пережили перестройку, как войну? Вы выглядите лет на пятнадцать моложе.

Смущение и лёгкий румянец разлились по славянскому округлому лицу, раскрывая доброе, материнское.

– Мне было четырнадцать лет. Я работала в воинской части в госпитале. – Она держалась в квартире привычно, словно здесь жила её дочь, и от этой её простоты становилось светлей и как-то свободнее.

– Надо вспоминать хорошее.

– Как? Хорошего и был спектакль «Мария Стюарт». Однажды в театре стою в кассу, вдруг подходит мужчина из очереди: «Я узнал тебя по голосу. Это из госпиталя!» Узнал. Как трудно было, а все верили. Он лётчик. Герой Советского Союза. На крыле вынес другого лётчика прямо у немцев под носом. А потом скольких я ещё встречала! Я ведь с мужем всё объездила. Мы должны были поддерживать структуру государства. Мы и поддерживали.

Приход нового гостя вновь ознаменовался исполнением короткой мелодии. Среди собравшихся оказалась странная женщина. Если бы её одеть в костюм Бабы-яги, она бы сделалась только от одного этого лучшим персонажем ТЮЗа. Оля не могла от неё оторвать взгляд: нос – крючок, глаза – большие, выплёскивающие черноту, волосы – пакля, вывалянная в саже.

– Наташа, познакомьтесь с моими гостями, чтобы знать, кто что любит пить и есть, – голос Киры стал напыщенный. – А это наша Марфа, – произнесла она театрально. Кира называла эту женщину «чёрной вдовой», напоминая ей, что у той было три мужа и всех трёх она схоронила, словно неся на себе судьбу паучихи.

– Меня зовут Наташа... – тихо сказала чёрная вдова.

– Марфа, – перебила её хозяйка салона, – ты суетишься о многом, а одно только нужно.

– Я испекла пирожки, – Наташа говорила виновато. – Я готовлю вкусняшки для гостей. Когда у меня умер первый муж, я думала – не выдержу. Вот когда второго схоронила, легче было. И третий раз вышла. Вот соседка мне завидовала. Потоптанная жизнь у неё. Зависть страшнее ненависти.

– Ну, ваше место на кухне, я же не ограничиваю вас всё кушать: «На халяву и укус сладкий». Надо знать своё место.

– Мой третий муж был писатель. Жена его, правда, была аптекарским работником. Вы, наверное, слышали, что она устроила? Его заставляли отказаться от членского билета. Она его через партком пыталась вернуть. Я столько для него сделала. Я перепечатывала, переписывала ему всё. Иногда изменю по-своему, а он: «Что ты меня всё исправляешь? Ты писательница или я...» Мне ведь после него ничего не осталось, всё его жена и детки забрали.

– Ты своих мужей любила?

– В третьем души не чаяла за то, что он писатель, хоть и чужой муж, а я отбила.

– Это не любовь, здесь только следы страсти, – с таким неприятным вниманием слушает Кира чёрную вдову. – Иногда простая зависть очень подпитывает артистку-женщину.

– О! Я мечтала быть актрисой кино. Если женщина в себе почувствует трепет зарождавшейся жизни – она мужчину своего так, так полюбит, как никого прежде не любила! – И возникло светлое выражение в глазах чёрной вдовы. – Это же восторг увенчанной любви! Время пронеслось быстро, как блаженный сон.

– Вам бы увидеть в зеркале себя, а не своего персонажа, – сказала Кира сочным режиссёрским голосом. – Помните, как пел Лемешев арию Ленского? Главное, найти правильное интонирование. Я выбрала развитие. А вы? Вы же три года учились в музыкальной школе!

12. Знакомые незнакомцы

Славецкий, пригибаясь у дверного проёма, рассчитанного на жильцов не выше среднего роста, вышел из каморки, прицепил висячий замок без ключа на дверь – для видимости. Открыл калитку, сняв с шаткого столба проволочный проржавевший круг в бисерных капельках дождя. Подниматься в гору тяжело, словно он всю ночь провёл не в постели, а разгружал вагоны. «Чтобы быть в виду, надо быть на виду», – мысленно повторял он. Ступеньки осклизлые, как голыши, выложенные из надгробных плит церковных. Он любил представлять себя в давнопрошедшем времени. Он держался за холодную металлическую трубу, прикреплённую вдоль ступенек. Наконец гул города стал ясным, звучным, дома ровными рядами длинных очередей тянулись к центру. Этажи громоздились, окна поднимались от земли всё выше. Здесь ему нравилось меньше, чем там, внизу, где всю зиму дымили трубами одноэтажные домишки, а летом всё зеленело и пело птичьими голосами. Его вдохновляло, что где-то здесь жил Мандельштам.

А кто же любит оставаться в городе летом?

На улице Вадиму казалось слишком жарко, в комнате – душно. Нагромождённые на полках, на столе, на кресле и даже на полу книги пропитывались въедливой пылью, бороться с которой у него не доставало сил и не было пылесоса. Вечером он наливал в таз холодной воды и ставил его у кожаного дивана, потёртого, как в каморке у Раскольниковова. Утром менял воду – это его кондиционер.

Он вошёл и увидел, что вода в тазу мутная, такое же было лицо у Вадима, будто он тоже провёл бессонную ночь.

Когда одиночество сковывало Вадима Николаевича, он затихал, уходил в себя. Но последние дни долго так оставаться не мог. Друг – это страховка, это человек, с которым надёжно. Сегодня было особенно не по себе, и нужно было с кем-то

поговорить, кому-то выплеснуть наболевшее, раскрыть душу. И они были рады друг другу в такие минуты. Было в его дали детства что-то глубинное, тёмное, тяжёлое, что чувствовалось, даже когда он смеялся.

– Хорошо, что пришёл сам, – приветствовал Вадим друга по-женски «сам». – Я собирался сегодня зайти к тебе, да голова какая-то тяжёлая. Сейчас сделаем чаёк.

С ощущением тепла приходило и оживление, тяга к общению.

Посидев с полчаса, они как-то разом сошлись на том, что надо бы и неплохо бы было появиться в салоне Киры, как они называли между собой эту квартиру.

Быстро пошли. И вот они уже у дома. Одновременно с ними у двери оказались и две хорошенькие дамы.

Это пришла Люба. И вдруг подошёл ещё молодой человек, похожий на индуса.

– Меня зовут Алекс. Ты девочка не московская, – сказал Алекс, разглядывая Любу. – Ты здесь никого не знаешь. Это высшее общество. Здесь не только водят совместные хороводы, но и происходят интеллектуально-любовные сближения. Держитесь ближе к Ренэ Герра из Ниццы. Но данное ему обещание не раскрывать его инкогнито заставляет прикусить язык. Будете гордиться, что общались с ними. Я буду твоим гидом, я написал уже несколько книг, я поэт. Меня зовут Алекс. А сейчас я вас познакомлю с высокочтимым мэтром Ренэ.

Вошли ещё гости.

Алекс подвёл симпатичную девушку к Ренэ.

– Вы любите передачи «Романтика ромansa»? – спросил Алекс, думая, что это то, что хотел сказать Ренэ.

– Иногда, – ответила Люба.

Он провёл дам к столу, сервированному по-шведски.

– Ты любишь лобстеры, я знаю, – индолог Алекс, хуленький, как индус, шутил.

– Я их не пробовала, – смутилась Люба.

– Рекомендую откусывать. Лобстерами они стали уже на кухне. Омары атлантические не каждый день кушаем, – говорил он скорее Ренэ, чем девушкам. – Не подумайте, что я гастрономический маньяк. Русская интеллигенция, а особенно творческая, за восемьдесят лет строительства коммунизма потускнела. Иудеев сорок лет водили по Египту, а русских восемьдесят. Вот загадки прошлого. Надо бы жить будущим, а мы всё ныряем в прошлое. Приходите на выставку «Они унесли с собой Россию». Эти картины вы никогда не увидите, они в Париже. Кисти художников-эмигрантов. Если гора не идёт к Герра, то Герра идёт в Москву.

Люба смутилась от необычности обстановки.

– Раки краснеют среди чёрной и красной икры. Эти лобстеры всё ещё похожи на живых морских омаров. Не правда ли? Прикинь.

– Панцирь периодически линяет у них и так растёт. Самки живут пятьдесят лет, а самцы тридцать. Но сейчас мы не узнаем, кто самка, – засмеялся Алекс, обнимая за плечи девушку.

Люба застыла перед лобстером, тыкнула в него вилкой, перевернула ножом. И рассердилась. Руками брать постеснялась.

– Светик, а девочки боятся лобстеров. Они не живые? – Алексу нравилось общаться с другим поколением, с другим кругом. – Я тоже не был человеком этого круга. У меня родители геологи. А тут цвет общества, бомонд. Гордиться будете, что общались с ними. Общайтесь.

– Света? – шепнула Люба подруге. – Не поняла.

– Это легендарный Святослав. Автор предисловий и послесловий к собраниям сочинений мировой литературы, – пояснил Алекс.

– А своё он что-нибудь написал?

– О! На алтарь публичного успеха он своих книг ещё не положил. Это жертва за успех на сцене и в ящике.

– В ящике?

– Его устраивала работа ведущего. Как Нина Заречная лошадей гнала, так он концерты. – И Алекс, подняв бутылку, спросил: – Армянский коньяк или шампанское?

Кругом разговор, смех и непривычная столичная богема.

Подошёл муж Киры и отец Сашеньки, усталый, изношенный человек, состарившийся не от своих лет, а от какой-то душевной тяжести. Лицо такое – цвета побежалости – радугой по металлу.

Вадим Николаевич пожал руки деликатно, предупредительно, но чуть, на полсекунды переусердствовал и внёс некую двусмысленность.

Среди гостей Киры каждый как будто ждал чего-то, какого-то особого к нему внимания. А Кира, зная это «чтобы быть в виду, надо быть на виду», оттягивала момент разговора.

– Борис, вас ещё не закружили девчонки? – рассеянно улыбнулась полковнику Мария.

– Что вы! – Полковник обнял её. – Я рад! Я помолодел лет на двадцать. Позвольте мне продолжать в том же духе. Осипович, а вы, кажется, незнакомы с Марией? Я хочу сказать, что это умный человек, и мы с ним сейчас спорили. Ты вовремя пришла и разрядила.

– Мне так нравится, когда вы разговариваете! – сказала Кира сочным голосом. – Чтобы люди разговаривали так много, как во времена Толстого и Достоевского! «Жизнь задыхается без цели».

– Говорят, наш век не романский, – заметил Вадим Николаевич.

– У Марии традиционный музейный день, – заметила Кира.

– Меня тянет эта тихая улочка, только жаль, что дома напротив рушат.

– Строится Москва. Ну что, Осипович, значит, по-вашему, человеку совсем ничего не нужно, кроме самого себя, – продолжил полковник прерванный разговор.

– Человеку нужно то, что ему нужно, вот только это я и сказал. Ну, может быть, это только я такой нехотяй?

– Кто вы?

Оля, в небесно-голубом, застыла, как облако, и прислушивалась к разговору двух мужчин, один из которых был в очках с большими линзами и в странном плаще, словно из тумана.

– Нехотяй? Ты ничего не хочешь? И когда это с тобой случилось?

– Когда папа был дипломатом.

– Где?

– В Поднебесной.

– Интересно. Какие люди! Но таких нет, которые ничего не хотят. А где его золотой посох?

Вадима хозяйка салона Кира за глаза звала «наш Телесий». Эту метафору нечаянно употребил друг его. Было в дали юности что-то глубинное, тёмное, что чувствовалось, даже когда он смеялся. Он рассказывал, как убил одну толстую змею, а другая уползла. И что-то стало с ним твориться. Он отрастил длинные волосы и красил их, стал завязывать на шее косыночки.

– Разрешите, милая леди, представиться, – отвёл внимание Оли от мужчины с косыночкой на шее. – Славецкий.

Но вдруг мелодия двери опять оповестила о приходе нового человека.

– Извините, господа, – Саша ввела молодого человека в гостиную, она держала его под руку, словно знатная леди, а он так сильно выгнул назад плечи, что все невольно улыба-

нулись этой весёлой паре. – Кто не знает нашего учёного Илью – прошу знать.

Илья пожал руку Славецкому и ощутил твёрдость, но при всей этой твёрдости было что-то ласково-галантное, возникло ощущение – эта рука очень подходит моей. И почему-то именно ему он передал газеты, которые специально нёс для полковника.

– Илья, рассуди нас – мысль ложна только оттого, что непонятна? – спросил он.

– Я не люблю играть в слова, – буркнул полковник. – Мы должны выходить на правильную мысль, а не запутывать друг друга словесными экзерсисами. Не упрощать, но пояснять всё: даже самое сложное. А от вас какая-то тень.

– Отойдите подальше, всем хватит места под солнышком, – защищался со спокойной улыбкой, словно всё в нём было заранее тщательно продумано. Ещё в пору детских игр в доме известного генерала, которому доверяли решение дипломатических вопросов, он уже иронизировал.

– Извините, – произнёс с примиряющей улыбкой Илья. – Вы ещё в истории не всё сказали.

Оле казалось, что, когда Илья говорит, в нём что-то светится. Она смотрела на Славецкого, и в этой затянувшейся паузе ей стало жалко его.

13. Помощник в ЦДЛ

В нижнем буфете ЦДЛ, как бы высоко поставлен чиновник ни был, вёл себя по-товарищески, как с небожителями. Новых сразу замечали и тех, кто возвышал себя, ставили на место. Шевченко бывал здесь в своё время. Критики говорили, да Антонов и сам признавался, что обладал сверхсекретным оружием – предвидением. Но употреблял это

оружие редко. О бывшем помощнике господине Шевченко Антонов знал наперёд.

Если бы прошло полвека, и автору пришла бы идея провести своё журналистское расследование, например, в 2025 году. Перестройка систему аппарата государства так изменила, что если бы Шевченко мог видеть или хотя бы слышать, что творится, то, возможно, понял бы, что его вина в том, что он опередил своё время, как Ульянов-Ленин.

А когда в начале 1985 года на книжных полках магазинов США появилась книжка Шевченко «Разрыв с Москвой», это была бомба. Он описал свои мотивы и размышления не с целью кого-то опорочить и тем самым осудить, а понять.

– Сбиваться в стаи – это способ существования коллективных особей. Чему же тут удивляться, что коррупция захлестнула страну? А жёны и любовницы со времен Гоголя влияют на расстановку кадров и в высших эшелонах власти.

Антонов любил беседовать с вундеркиндами и с теми, у кого есть дар.

– Кто такой настоящий дипломат? – спросил Антонов.

– Это мудрый муж, который убедил жену, что белая норковая шуба её сильно старит.

– В дом-музей явились гости, обходя четыре комнаты.

– Откуда вам это известно?

– Знания передаются. Газета Times публикует очерки Шевченко.

– А жёны спасали ценности, разбросанные по магазинам, базарам, скупая их. Что же тут криминального? – Шевченко расправил плечи, клюнул сосиску и спросил у Антонова: – О том, что Шевченко, переступая через своё честолюбие, преподнёс в семидесятых бриллиантовую брошь, ты знаешь? А Лина, жена Шевченко, на время приезда в США становилась подругой посла.

– И что? Что? Шляхтича и дома пороли? Как ты не понимаешь, какого уровня этот дипломат был! Он представлял великую державу на международном уровне.

– Говорят, с него началась перестройка. Он выкрикнул Горбачёва до предложения и голосования по протоколу.

– У каждого человека есть два Солнца. Солнце на небе и Солнце в душе. Пусть всегда будет хорошая погода.

Антонов задумывался и пришёл к выводу, что существует и движет человеком не только генетическая память, но и генетическая судьба. Ни золото, ни бриллианты, ни власть так не влияют на судьбу, как генетическая память. Мы отработываем миссию и в личном плане, и в коллективном. У коллектива есть общая память, и личность не может быть свободной, находясь в этом коллективе.

– Если папа дипломат, то так или иначе судьба предоставит и тебе шанс, – сказал он Ольге, положив её руку себе на колено. – Нужно уловить миг, удивительный миг.

14. Горбатый мост. 1991

Есть свадебная традиция у москвичей: объехать несколько мостов и повесить замок. Кира тоже свой замочек оставила на Горбатом мосту. Это один из самых старых и счастливо уцелевших мостов Москвы. Нагруженный прекрасной людской ношей замков «на счастье» Горбатый мост, казалось, улыбался на фотографиях.

Кире, видимо, нужны были люди, чтобы чувствовать, что жизнь крутится, вертится вокруг её оси и у каждого есть своя орбита. Зачем ей нужны эти люди? Она удерживала их силой гравитации обаяния. Одна необходимость порождает другую, и всё в этой жизни состоит из подобных цепочек. Кире стало интересно: завязывался разговор между её отцом и Славце-

ким. Она искренне полагала, что не любит плохой театрализации. Не живут в полную силу, а все вроде репетируют, играют ситуации.

– Да, я военный человек и горжусь этим. Для меня все штатские... – он напрягся.

– Не люди, – помог Славецкий. Он думал, что знает человеческую натуру и вправе судить, исходя из этих знаний.

– Господа, граждане-товарищи! – попытался начать с шутки Греков. – Мне кажется, что мы находимся на такой волне человеческой истории, что сейчас всё решается в России! Шкала ценностей перенесена сюда, и оттого, как мы с вами увидим мир и события, будет зависеть судьба всей планеты! Я не шучу! Вы должны научиться слышать и понимать друг друга, чтобы эта шкала опять не оказалась ложной!

Откуда взялся этот Греков, спросите вы. У Киры было именно это и интересно, что тут, в её салоне, могут быть самые неожиданные встречи, люди из разных кругов Москвы: и из Садового кольца, и из глубинки.

– Они неполноценные люди, – невысокий, с седым пушком на затылке, Борис говорил таким генеральским голосом, что по телефону часто вводил в заблуждение по поводу своей внешности представительниц прекрасного пола. – Мы лётчики! Нас выбирали одного из ста тысяч! Это лучшие люди, особая порода. И в физическом, и в интеллектуальном плане нам дали всё.

– Но вы заплатили за это свободой, – тихо заметил Славецкий, по природе своей он был человек мягкий, и, в общем-то, не в плане осуждения он говорил, а хотел понять.

– Какой свободой?! Кто из нас более свободен: вы или я? Что такое свобода, уважаемый литератор? Правильно я понял род вашей деятельности?

– Ну допустим. Так что, по-вашему, свобода?

– Это знак равенства между тем, что я хочу, и тем, что я могу. Вы достигали этого?

– По-другому понимать можно, товарищ полковник? – Славецкий сузил глаза, но не улыбнулся. Он ничего почему-то не делал сам, но поговорить он может. – Художнику даётся свобода для понимания людей, а военному и бывалому человеку – для обретения власти над людьми.

– Что значит «бывалому человеку»? – спросил Илья.

– Если за веки истории принимать военные события и рытьё каналов, что же такое цивилизация?

– Я понял, почему свободе мешает власть, – Славецкий поднял руку, открытой ладонью как бы взвешивая что-то.

– Но в хаосе вы скорее лишитесь своей свободы. Вы не желаете порядка, который вам предлагается? Но сами вы не хотите заниматься мироустройством, – горячился полковник. – Что же тогда вы такое? Это женщинам и девчонкам вести такой разговор, но так просто разговаривать не подобает мужчине. Как же без власти удержится порядок?

– А как удерживается порядок в природе? – задал вопрос Илья с какой-то искоркой в глазах. – Вы, мудрецы мира, ответьте, почему муравьям удалось разумнее построить своё существование, чем нам?

– Насилие порождает силу! – полковник ударил ребром руки по колену. – И я буду утверждать, что сила для установления порядка нужна!

– Художник находится над этой силой, – развивал какую-то свою высокую идею Илья, поднимая всё выше голову. – Человек-творец – вне насилия, вне этого порядка на земле...

– Что значит «над»? – загремел он.

– Вне их, – произнёс Илья, подчиняясь какой-то внутренней окрылённости.

– А кто же будет Родину защищать? Уголь добывать? Мы никогда не догоним Европу, потому что нам всего надо в четыре раза больше, у нас четыре типа одежды, четыре типа питания, топлива надо в четыре раза больше. Европа – это

Гольфстрим. А у нас Сибирь, тайга, топи, тундра. А у вас нищезанство, – полковник резко встал.

– Ваша теория зла, – поспешил выступить в защиту Ильи Осипович.

Илья понимал, что беда этого опытного честного человека в том, что он только свою жизнь считал правильной:

– Вы оба правы, но вы оба ошибаетесь.

– У меня такой опыт! И я ошибаюсь? – он негодовал.

– Но у меня другой опыт.

Однако полковник Илью не услышал, словно мешал рёв двигателей истребителя:

– Кто может меня учить, если этот человек от горшка два вершка не поднимался! Сила, какой бы жестокой она ни была, если она противостоит насилию, должна быть оправдана!

– А как же «не убий»? – Илья верил, что можно к душе любого человека достучаться. – А всепрощение? – во взгляде его была детская открытость.

– Я ношу крестик, как уступку моде, из уважения к одной женщине. – Полковник на мгновение закрыл глаза. – Что нам говорить о той жизни, о которой мы ничего не знаем? Каждый период истории свои даёт ответы... Да и человек тоже. Всё в жизни решается заново.

– А десять заповедей? Ведь это всё касается больше той жизни, чем этой, – Илья был больше на стороне полковника, но иногда его правды совсем не принимал.

– Извините, полковник, – усмехнулся и произнёс как-то через губу Славецкий. – Он живёт как бы свою жизнь, к быту, к реальности не приспособлен. – Вот вы крестик-то надели, а партийный билет положили? Вы как Понтий Пилат, как коммунист.

– А что общего между коммунистом и Пилатом?

– Хотел отпустить назарянина, не хотел ссориться с иудеями. Когда узрел, что они не хотят исполнить его жела-

ния – отпустить бедного, как бедуин, человека, то отправил его к Ироду, земляку его. Но назарянин не стал показывать чудеса и развлекать богатого римлянина, облечённого всемогущей властью. Ирод отослал назад в преторию Иерусалима, по-нашему в мэрию. Понтий в третий раз не желает брать на себя ответственность за этого безобидного чудака. И отдаёт решение вопроса разгневанной толпе, зная наперёд, что они не выберут назарянина для прощения на праздник по иудейским законам. Трижды отрёкся от назарянина Пилат. Однако в эфиопской церкви прокуратор Понтий – святой. У загадочного Булгакова Пилат «в белом плаще с кровавым подбоем». Понтий – предтеча коммунистов. Товарищ полковник, вы ещё коммунист?

– Я – полковник! Я защищаю своё отечество. Горжусь этим, уважаемый литератор. Или вы не мученик-литератор, а уважаемый судья-редактор? Или как вас? Все редакторы – людоеды! На меня где сядешь, там и слезешь! – лёгким упругим движением он отскочил, словно его облили кипятком. – Я служил Родине! А вы что сделали для нашей с вами Родины? Разваливали то, что я берёг?! – не быстро и не медленно при выпрямленном корпусе проделал несколько ровных шагов.

– Почему разваливали? – тут Илья опять ринулся объяснять движение жизни полковнику из одного желания помочь ему. – Просто старались изменить жизнь, которая и вас, наверное, не устраивала.

– Или вы камни мечтаете превратить в хлебы? Заводы работали, колхозы давали людям всё, чтобы жить, растить детей. Не боялись в старости смерти от голода... А вы что хотите сделать вашей свободой? – сражался полковник словами со словами.

– Разве страх смерти зависит от голода или болезни? – Илья удивлялся, сколько нерастраченной энергии было в этом

старике-лётчике, словно он ему не отец, не дед, а ровесник. – Смерть – это смерть, а голод – это голод.

– У нас не умирали от голода, не боялись нищеты, не собирали на свалках куски хлеба, не бросали детей! – от полковника исходило столько силы и уверенности.

– Вы-то сами бывали на свалках? – туго сжал Славецкий скрещённые на груди руки.

– Не был, но знаю.

– А я был! – вдруг сорвался голос Славецкого в какой-то детский крик и завис. Он сам прервал паузу. – Десятки раз был. И дети, и женщины, и старики выковыривали пустые бутылки, куски хлеба. Работал над этой темой как журналист. Но мой материал не пропустили на страницы газет, поэтому вы, полковник, ничего не узнали.

– Это клевета!

Кира понимала, что отчим сейчас обрушит ещё большее обвинение, это был его старый способ защиты даже дома с женой или детьми. Она совсем недавно узнала, что он отчим ей. И теперь смотрела на него другими глазами.

– Вадим, – по-хозяйски расставляла она на столике кофейные чашечки, загораживая собою отчима, и своей намеренной неловкостью прервала разговор. – Я сегодня была в колледже. Как вы думаете, Сашеньку надо перевести в другой класс? Идёт набор особо одарённых детей, и собеседование – английский язык – за неделю до занятий. Может быть, пока Сашенька здесь, пусть позанимается с репетитором?

– Я сам позанимаюсь с ней.

– С твоим произношением?! Нужен носитель языка, языковая практика нужна.

Вдруг зазвонил телефон. Кира подняла трубку.

– Папа, тебя спрашивает Иван Корнев.

Полковник, важно приосанившись, точно на военном параде, подтянутым армейским шагом промаршировал мимо гостей в прихожую.

– И Оля пусть к ним подключится, – вынул заложенные руки из-за спины Вадим Николаевич. – Хочешь, Оля?

– Я в деревне начала изучать немецкий.

– Зачем?

– Там нет английского.

– Как? Во всей школе нет?

– Там маленькая школа.

– Ничего, присутствует. – Вадиму Николаевичу нравилась эта тихая девочка, которая, как ему казалось, всего стеснялась и от этого с особым уважением относилась к людям, которые живут такой жизнью. – Может быть, у неё пробудится интерес, и она самостоятельно будет продолжать в деревенской тиши изучать язык...

Вадим Николаевич жил литературной подёнщиной, сохраняя особую почтительность к знаниям и людям, которым это было дано с детства. Теперь, казалось, он был привязан к дочке и к бывшей жене больше, чем до разрыва с ними.

Наконец пришёл Зубр, невысокий, поджарый – истинный горец, однако со светло-русыми волосами и вологодской голубизной в глазах. С его появлением все как-то подтянулись, сели прямее.

– Хотите свежий анекдот? – выпалил он задиристо. И начал: – Пришла делегация чукчей в приёмную комиссию и жалуется: «Не хотим называться чукчами! Анекдоты слушать о себе надоело!» «Хорошо! Учтём ваше пожелание».

Когда высокая Кира походкой манекенщицы прошла по новому ковру своего салона и прикинула, куда усадить Андрея Зубра, всё внимание было ей. Хозяйка была приятно возбуждена – её интерес наблюдательницы жизни будет удовлетворён. Она почти не обращала теперь внимания на Грекова и Славецкого. Зубр ей виделся не таким, каким он был перед всеми, а как бы с портрета, который она на него составила. Портрет этот, если бы взялся нарисовать художник, вышел бы сантиметров на десять выше самого человека.

Ей казалось, что Зубр встаёт на носочки или подпрыгивает. Этот человек сам создаёт для себя символы и каноны, потом из них строит пирамиду и вдруг с азартным задором разрушает. Так он делает свою жизнь деятельной и значимой. Кире, чтобы узнать человека, важно было, что сам человек говорит. Она больше верила в естественность движений, жестов. Всему мера – сознание, знание и воля. Но язык тела лучше, чем слова.

* * *

Мария слушала, но в разговор не вступала. Думала о своём. Вспоминалась почему-то Евдокия, глубинная, затерявшаяся на просторах черноземья Клёповка. Какое мужество, какую душу надо иметь женщине, чтобы пройти сквозь такие тернии жизни, не сломиться, не впасть в меланхолию. Ей вспоминались не лицо, не руки, не глаза, а голос. Прошла сквозь такую жизнь, которая по тяжести, быть может, перевешивала лихолетья войны. Как щедро природа наделила силой и волей эту натуру. Кто давал ей эту силу? Перед людьми на колени не падала, одна с двумя детьми мыкалась. Почему такое бесправие – дети тяжким камнем упали на неё и тянули, тянули... Дети?! Женщина прорастает в них и уже становится неотделимой, а мужчина отторгается и так увеличивает дистанцию, что рвутся все связи. Спрашивают, какая идея объединяет всех людей? Дети объединяют всех людей! Вот вам и идея. Раньше в народе говорили, у кого нет детей – это высшая кара Божья. И сиротку в дом брали, чтобы загладить свою вину перед природой и людьми и умилоствить Бога. Пуста всякая идея, если она не заполнена болью за детей. Пока мужчины это не поймут, – на земле будет хаос. Она представила, что бы было, если б они поехали к отцу Оли. Но вот этой боли она боялась и оттягивала встречу, объясняя занятостью то одним делом, то другим, да и дорога до Дальнего Востока не такая близкая. Но чувство вины перед доче-

рью, как тень, ползла и не рассеивалась даже в темноте ночи, словно она была темнее и гуще, иногда мысли эти так плотно обволакивали её в своё покрывало, что она просыпалась и засыпала с ними. И когда слушала этих салонных москвичей и небожителей подвала, ей было грустно. Как далеки они от Клёповки, от Евдокии, от Среднего и Верхнего Дона.

Вновь проснулась, никого в квартире уже не было.

Отдыхала от суеты последних дней. Эти несколько часов возвращали ей силу, и не хотелось спешить выходить в город. Она привыкла всегда и везде быть с дочкой и чувствовала необыкновенную пьянящую, словно мешающую ей, свободу. Теперь можно время уделять только себе. Это новое чувство ещё неосознанное, непривычное возбуждало в ней какое-то праздничное особое настроение. И вдруг вспомнила школу, белую сирень, комаров, соловьёв. Мария отмахнулась от мысли о деревне так, как от этого отмахивались все, кто уезжал в город. Что нового может дать деревня человеку, ей или её дочери? Нет, надо решаться на переезд и ради Оленьки, Борис Константинович прав. Но и эти мысли она заглушила. Нет, сейчас она не хочет думать обо всём этом. Может она позволить себе праздник хоть раз в жизни? И она вышла на улицу.

* * *

Август 1991 года был похож на весну. В городе не чувствовалось уходящее лето так, как в деревне. Суета автомобилей и пешеходов, мелькание витрин, яркая реклама – всё в ней возбуждало радостное стремление быстрее двигаться, больше увидеть и успеть побывать там, где ей хотелось. Спустилась в метро. Молчаливая задумчивость москвичей с газетами и книгами пробуждала в ней чувство уважения как к иностранцам. Движение поездов под землёй ей казалось таким же стремительным и лёгким, как самолёта в воздухе.

Она любовалась лицами, поднимаясь по эскалатору. Вышла на станции Тверская. Хотелось пешком пройти до Красной площади. Что это? Праздник? Парад? Ползут маленькими колёсами, точно гусеницами, военные машины. Стайка мальчишек пронеслась мимо и громко с озорливостью крикнула: «Танки!» Но эти БТРы лишь по своей причастности к военным действиям походили на танки. Парни в защитно-афганской форме сидели сверху, и было похоже то ли на парад, то ли на шествие вывода войск. Она смотрела на лица людей, которые тоже сопровождали это шествие. Была какая-то тревога в воздухе. Но спросить она не решалась, словно боялась услышать что-то страшное. Приблизилась и шла за медленно ползущими машинами, как сотни, тысячи людей. Шествие подошло к памятнику Юрию Долгорукому и встало.

Военные в бронежилетах принялись за разгрузку ящиков с боеприпасами. Потом понесли их к зданию Моссовета. Толпа прохожих подтягивалась и окружала их всё большим кольцом.

– Вы что же это удумали, а? – пожилая женщина из простых работниц кинулась с вопросами к молоденьким военным, похожим на курсантов. – Кто вас сюда пригнал? – размахивала она руками, словно находилась на стреле строительного крана и указывала майна-вира.

– Уйди, мамаша, мы выполняем приказ!

– А у самого-то голова на что? – она бросилась от первой группы солдат ко второй. – Мать-то у тебя есть?! В кого стрелять будешь? В меня?!

Перед колёсами первого БТРа появились доски от строительных лесов, какие-то ржавые металлические трубы. Подкатали, как бревно, высокую, чугунную тумбу для мусора. Мария обошла эту замысловатую баррикаду. Цепочка военных, а за ними и люди, пришедшие за машинами, вошли в тёмно-красную арку.

– Моссовет берут!

Она оглянулась – маленький, худенький старик, как дед Михаил из Клёповки.

Солдат провели во двор, выстроили вдоль стены Моссовета. Они стояли плечо к плечу, словно на уроке физкультуры.

– Хлопцы, курить хотите? – протянула пачку сигарет женщина в синем простом платке. – У меня сын тоже в армии. Возьмите, вот тут у меня пирожки с мясом.

– Нам нельзя, мамаша.

– Ну и что ж нельзя, а есть-то хочется.

– На то и солдат – сила воли должна быть.

– Бомж останавливает на улице толстую женщину: «Госпожа, помогите мне, я не ел три дня». «О боже! – воскликнула дама. – Как бы я хотела иметь вашу силу воли!...»

– Откуда приехали, ребята?

Толпа быстро выстроилась в такую же шеренгу напротив солдат.

– С Урала есть?

– А мы – кто откуда, – отвечал один и тот же рыжеватый солдат.

– Понятно. А прибыли из каких частей?

– Из разных.

– Что делают, – разволновалась женщина с пирожками и с сигаретами. – Они, наверное, и присягу ещё не успели принять, их сюда пригнали!

Она чувствовала, как сзади подпирает толпа, желая тоже приблизиться к этим мальчишкам.

– Вы ночь ехали?

– Ребята, да ушёл ваш.

Перед рыжим парнем очутился блок импортных сигарет. Он рассмеялся. Вскрыл целлулоидную упаковку и пустил пачки сигарет по шеренге. Солдаты рассовывали их по карманам.

– Что вы, ребята! Ведь все мы знаем, что такое армия. И сигарет-то не дадут. Вас хоть сегодня кормили?

Рыжий хохотал, точно у него сегодня день рождения. И вдруг все в ряду переглянулись, замерли. Раздвигая заслон из толпы, прошла группа офицеров.

Вдруг одна старушка раскрыла пакет и стала вынимать сладкие булочки.

– Подожди, мамаша, – остановили её сзади, – сейчас их начальство пройдёт. – В поле две воли: чья сильнее.

Булочки вызвали смех.

– Так я что ж, – сетовала старушка, – я порядка не хочу нарушать. Вот купила гостинчика для своих, а тут вон какие дела. Возьмите, ребята, от всей души. Только, сынки, прошу вас Христом Богом, – голос бабушки дрогнул, как-то заскрипел, и она закашлялась, – чтоб пушки эти не стреляли, сделайте что-нибудь, – с трудом договорила, протягивая им пакет с булочками.

– Нельзя, нельзя!

Кто-то взял у неё пакет с булочками и стали оттискивать её из толпы назад.

– Ребятки, у меня ведь такой, как вы, муж с войны не пришёл, – донеслось её всхлипывание. – Война – великое настоящее горе.

– Весёлое горе – солдатская жизнь. Мы объединением без сытости не страдаем.

Рыжий отмахнулся:

– В карман её не засунешь. А есть нельзя.

Сзади напирают всё сильнее, и Мария, почти прижатая к рыжему парню, хотела повернуться и выбраться из этой толпы, но сзади плотной стеной продолжали давить. Обернулась, но многие были выше её ростом, и толпа, всё увеличивающаяся, держала их тоже нарастающим давлением. Похоже, что те, кто был за нею, сдерживал напор, поэтому

она ещё сохраняла полшага дистанции между собой и этими парнями с винтовками.

Вдруг нависла тишина, грозная, военная, безжалостная ко всему живому. Притихли, словно ударили кого-то бессмысленно, беспричинно.

Шеренга выровнялась, откачнувшись, замерла. Сверкающие штыки блестели. Вдруг распахнулось окно на втором этаже Моссовета, полетели лёгкие, изгибающиеся на ветру листовки. Кружились над обнажёнными штыками. Толпа подтолкнула её сзади так, что она ткнулась в рыжего парня, чтобы не упасть. Он быстро убрал штык, направив смертоносное остриё в кирпичную стену дома. Замер, не глядя ей в лицо. А толпа всё напирала. Пожилая бедно одетая женщина прорвалась вперёд и отчаянно хватала эти листовки, совала в хозяйственную сумку и опять ловила, словно это были для неё какие-то особо ценные бумаги.

– В народе, что в туче: в грозу всё наружу выйдет.

– Шла бы ты домой, бабуля! Тебе-то это надо?

– Стар дуб, да корень свеж. Аль я не живая, что ты со мной как с мёртвой говоришь?

– Народ глуп: всё в кучу лезет.

– Глас народа Христа предал.

– Волка на собак в помощь не зови.

Толпа сбивалась, давили, толкали. Крики то ли ликования, то ли отчаяния слились в сплошной гул. Вдруг на втором этаже Моссовета открылось ещё одно окно, несколько рук торопливо выбрасывали листовки. Эти радостно-зловещие вестники опускались прямо на голову людей толпы. Рыжий парень – солдат с обнажённым штыком – дико смотрел на обезумевшую толпу, и она ему казалась одноликой, управляемой откуда-то извне, как луноход, который собирал образцы пород для Земли, подчиняясь воле человека за сотни тысяч километров. Рядом солдат с силой упирал штык в асфальт, но рыжий солдат сразу не догадался, что

так будет безопаснее, и теперь ему приходилось держать винтовку над собой.

Мария не могла поверить в то, что видит: штыки, толпа, руки, взметнувшиеся вверх. Ей показалось, что пока эти листочки летят от второго этажа до рук, они не принадлежат никому. Как хочется поймать эти кружащиеся в воздухе слова, чтобы узнать правду. Но эта иллюзия только на миг подчинила её. В каком-то отчаянии она пыталась оттолкнуть обезумевших людей, напиравших с такой силой, что трудно стало дышать. Ей неприятны стали их лица, загоревшиеся от азарта. Вот упала старуха, из её сумки выпали булочки и растапывались, превращаясь в месиво. Стало страшно, жутко. Руки дрожали, в ногах была какая-то слабость. Как выбраться из этой страшной давки? Куда она теперь спешила, куда шла, она уже не совсем представляла. Дождь то принимался сыпать мелкими каплями, то прекращался, но она его почти не замечала, не обращала внимания, как вода попадает в её босоножки. Вот идёт она по Москве будто босая. Движение машин было остановлено, словно на гулянье в большой праздник.

Наконец поток людей вынес её к оцеплению, которое сдерживало доступ на Красную площадь. Здесь парни в военной форме показались ей ещё моложе, чем у Моссовета. Им также давали сигареты, шоколадки, зажигалки. Но толпа была здесь более агрессивной, словно раздражена тем, что их не пускали пройти по древней святой брусчатке.

– Кого выставили против нас? Детей наших?! – гудел бас. – Знают, что их никто не тронет.

– Где народ увидит, там и Бог услышит.

– Дети, дети, – горько сетовала пожилая, худенькая женщина. Как же это так?! И кто разрешил всё это?

– Кто? Коммунисты.

- Что, коммунисты? Я тоже коммунист! А кто защищал тебя в войну?
- Так я не про тех коммунистов говорю, а про этих!
- Про каких, про этих?
- А про тех, что в Кремль пробрались, чтобы народное добро хапать!
- А ты видала?
- Народ всё видит, его не обманешь.
- Это ты, что ли, народ-то?
- А ты-то кто такой, чтобы тыкать меня?! Коммунист, коммунист. По мне всё одно, какая партия! Лишь бы воров не было и обманщиков таких, как там сидят.
- Это в чём же они тебя обманули?
- А тебя не обманули? В коммунизм, говорят, верьте! Они себе коммунизм и построили, а нам что? За ружья опять похватались. Кровашки испить хотят?
- Тётка, ты хоть понимаешь, кого эти солдатики охраняют и кто здесь против кого?
- Всем один конец будет.
- Эх, бабка, бабка, что ж ты всех за собой тянешь, ты-то свой век прожила, а они ещё нет. А этому пацану, если он приказ не выполнит, военный трибунал. Посадят на десять лет.
- А у меня вся жизнь – каторга.
- Чем больше кошку гладишь, тем больше она горб поднимает.

Мария посторонилась. Старая женщина прошла мимо, поправляя платок узловатыми пальцами. Она невольно посмотрела на свои руки, которые непрерывно болели от дойки, и опять ощутила в них боль, словно только пришла с фермы.

- Что это происходит? – решила она спросить у пожилого человека с радиотелефоном. – Извините, я приезжая. Что в Москве происходит?

– Вы знаете, что они с вами сделают?! – прикрикнул он не то на неё, не то на того, кто только что отошёл.

– Работали, работали! А заработали чирей, да болячку, да третий горб.

Подошли двое военных.

Поняв, что ей не попасть на Красную площадь, Мария опять влилась в толпу и пошла, сама не зная, зачем и куда приведёт её эта залитая августовским дождём дорога. Гранитные камешки, отшлифованные шинами машин, поблёскивали в чёрном сыром асфальте то красноватым, то почти белым гранитом и создавали какую-то весёлую пестроту.

Она шла долго и очень устала, но там, в деревне, она привыкла забывать про свою усталость. Толпа вышла из центра, и улицы стали такими же, как в том городе, к которому она привыкла с детства: скверики, переулки, дворы домов... Кто-то хорошо знал, куда надо идти, и сокращал дорогу.

– Жалко, что не уехали отсюда, – её обгоняли двое молодых высоких парней, похожих на иностранцев, темноволосых, с вытянутыми лицами. Доучились бы ещё год – и в Америку, в этой стране всего можно ожидать. То горб, то долина. Родина – чужбина.

А кто же настоящий архитектор перестройки? Министры иностранных дел – иностранцы, как во время Петра I? Почему мы к ним, а не они к нам в наши окна и двери лезут? Народ – высшая правда. Народ историю делает, выполняя волю свыше.

Шумно говорящие москвичи обогнали и затерялись в толпе.

– Демократию развели, давно бы надо было всё это прекратить, сколько можно терпеть, – с ней поравнялись мужики с загорелыми лицами строителей. – Развели базар, всё продают. От спекулянтов пройти по улице невозможно. Скоро нас с потрохами продадут, будем мы с тобой белыми неграми.

Впереди показались бронемашины. Подъехали. Остановились. Люди, как муравьи, натаскивали вокруг них доски, ржавые железки, сломанные ветки, в своей наивности представляя это баррикадами. Солдаты, свесив ноги в открытые люки машин, курили, весело отвечая на угрозы и одобрительные возгласы снизу. Им, видимо, странны были баррикады, БТРы, толпы испуганных обывателей, их слова, которыми они обменивались. Парни чувствовали наконец свою армейскую силу. Это их возбуждало и радовало. Да и вряд ли кто верил в реальность этих баррикад. Они не могли оставаться в бездействии. Что это было? И народ шёл в надежде понять и увидеть.

Москвичи отдельными ручейками стекались к Горбатовому мосту, ибо он находится в нескольких метрах от здания Правительства России.

Коренные москвичи знают историю этого моста от бабушек и прадедушек. Это один из самых старых и маленьких мостов Москвы.

Он возник на плотине Среднего Пресненского пруда, и называли сей горбатый мост ещё бабушки – москвички Нижний Пресненский, ибо был ещё и Верхний Пресненский.

Здесь на прудах заливали каток, и Миша Лермонтов скользил по льду, как по времени.

По нему, возможно, проезжал и Александр Пушкин, ведь его невеста Натали жила недалеко. Вот был великий архитектор русского языка – Пушкин! Народный язык поднял до литературного. Его никто не свалит, никакая мода.

Ведь построен мост в середине XVIII века. 1806 год – тут первый московский публичный сад. А мост облицевали белым камнем, стояли на нём фигурные фонари. И, казалось, дуга моста, как бровь великана, удивлённо смотрела на прохожан.

XX – век технократии. Мост называли «Мост имени 1905 года».

На мосту кровь проливали, которая наполняла собой речушку Пресня.

18 декабря 1905 года по приказу разрешили пропускать через Горбатый мост повстанцев, кто намерен сложить оружие и покинуть Пресню. Москвичи поднимали руки и входили на мост, как на эшафот. Многих расстреляли после обыска и допросов. Восстание подавили.

Мост связывал Пресню с Центром. В 1980-х годах мост реставрирован. Перед тем, как началась великая реставрация капитализма.

* * *

Вооружённое противостояние у Белого дома. Подойти было невозможно к Дому Советов. Эти ручейки слились в поток, и уже не надо было спрашивать, куда и как идти дальше. Они подошли от реки, и Белый дом не показался высоким и величественным, как из Клёповки. Вокруг какие-то кирпичи, асфальт, повреждённый колёсами тяжёлых строительных машин.

Мария старалась ступать там, где нет луж и грязи, но ноги были уже мокрые, она почувствовала зябкость, словно сейчас с дождём повалит и снег. Людей было не так много, и можно было видеть все окрестности. Вокруг простор, будто затевалась новая стройка. Народ на ступеньках, костры, пиво и водка. Она не понимала, почему нужно идти именно сюда, а не оставаться у Красной площади, где, как ей казалось, должно произойти самое важное. Но вдруг на балкончике, над главным входом, появились люди, все оживились, повернулись, встали так, чтобы было видно. Прошла вперёд, забралась на горку кирпичей. Рядом иностранец спросил парня:

- Кто это? Почему?
- По кочану, – парень не понял, что это иностранец.
- Как перевести «по кочану»?
- Капуста.
- Зелёная?

- Да. Зелень.
- Идёт! Идёт!
- Я же говорил, что он здесь!
- А кто это? В фиолетовом кто?
- О! Да это там пара генералов!
- А рядом с ними?
- Бард, песни поёт.
- Да, Вознесенский это.
- Не Вознесенский, а Евтушенко.
- Тихо! Что орёте? Дайте послушать, что говорят. Это было похоже на то, как бы сам Ельцин вышел с телеэкрана. Она никогда не видела его так близко.

Наконец все захлопали, словно в концертном зале Дома Союзов. Она захлопала вместе со всеми, забыв, зачем пришла сюда, она не ожидала здесь встретиться с этим поэтом-артистом. Его руки ей казались такими длинными, что он закрывал собою всех, кто так решительно вышел с ним к народу. Но голос нового оратора погасил её детское восхищение от фиолетового поэта. Трибун говорил резко, однако располагая к доверительности многих, кто был внизу под балкончиком. Совсем неожиданно было, что он призвал помочь, не уходить.

– Что он говорит? – старик вдруг поднял расслабленно свисшую вниз голову и постучал по-деревенски Марию по плечу.

– Я прошу вас защитить меня ночью, – перевела она ему услышанное. – Если вы уйдёте, то военные займут Белый дом и все наши с вами демократические завоевания.

– Что? Что, дочка, он говорит ещё? – старик, как ребёнок, дотронулся до её руки.

– Плохо слышно, я тоже не всё понимаю. Он просит защитить демократию.

- Кого?
- Нас с вами.

– От кого? – старик поглядел по сторонам, везде молодёжь, как на дискотеке, и поговорить не с кем. – Не подкрашив, товару не продашь...

– Что, отец, выпить не хочешь, а? – вышел на него пьяный мужичок. – Высоко сокол загоняет серу утицу?

– Мир за себя постоит. Мира не перетянешь.

– В тузы полез. Это туз, да ещё и козырной! Пойдём по маленькой найдём где-нибудь... Двум головам на одних плечах тесно. А наши головы тут и вовсе не понадобятся...

– Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет.

– Кто законы пишет, тот их и ломает. Бать, ты как с луны свалился. Где жил-то, по Парижам али всё хвосты коровам дёргал, коровий разведчик? Что мне законы, были бы судьи знакомы.

– Верблюды не видят своего горба.

– Ты «ну», я «ну», а выехать не на чем... – Мужичок достал из-за пазухи фляжку. – Давай, отец, выпьем, что ли? Помянем тех, кто тут кровь проливал в 1905 году.

– Верблюды, рассказывая о коне, непременно изобразят его горбатым.

– Ты из Казахстана, что ли?

– Из Советского Союза. Был горбат – выпрямился, был слеп – прозрел.

Мария посмотрела на свои мокрые замёрзшие ноги и не смогла представить, как можно здесь выдержать ночь. Государственный деятель говорил напористо, просил о помощи с какой-то внутренней уверенностью, словно требовал и отдавал приказания.

Потом, когда делегация с балкончика ушла, она долго не могла понять, что же ей теперь делать. И лишь холод привёл её в чувство. Она пошла по улице, оглядываясь на это белое здание правительства. Мария отходила всё дальше, ей казалось, что она спускается вниз, оглядываясь, видела, как величественно выросло здание Белого дома – Дома

советов народных депутатов СССР. Прошла ещё, и что-то её опять заставило оглянуться. Но теперь и она стояла высоко, словно вровень с этим могущественным зданием. Белый дом был как бы на горе, но теперь отдалённый, на пламенеющем горизонте небосклона. Она оглянулась третий раз. И опять увидела зарево, оно словно разгоралось. Закат огненными мазками разлился по небу, захватывая его наполовину. Казалось, в небе что-то горело. Она стояла ошеломлённая этим виденьем, но никто почему-то не замечал этого.

Вот огромная выстроенная по шесть человек толпа движется прямо ей навстречу. Она отошла на тротуар. Ровные шеренги приблизились, поравнялись с нею и замелькали мимо. Они заполнили собою всю проезжую часть и шли таким ровным шагом и правильными рядами, что Мария забыла про закат и стояла, как замороженная, глядя теперь на это зрелище. Она хотела понять, что это за люди, впервые она видела за сегодняшний день организованную колонну.

– Кто вы? – задавала она им вопрос, ступая на проезжую часть, но они проходили мимо, словно не видя её. – Скажите, откуда вы? – но они даже не поворачивали головы. Марии стало не по себе, она остановила седого человека, шедшего сбоку колонны. – Кто эти люди?

– Рабочие. С завода ведём, – он говорил быстро и серьёзно, но в глазах и в голосе был звенящий радостный блеск. – Митинг в цехе провели, – он обошел её и улыбнулся, как улыбаются восточные мужчины русским женщинам.

Стройность, с которой шли люди, была поразительна, она возникла, видимо, стихийно и поддерживалась в дороге по привычке, по той вековой привычке, которая прививается и детям детей, и детям внуков – рабская послушность думать и действовать по команде.

Продолжение следует...